

А П О К А Л И П С И Ч Е С К И Е С Н О В И Д Е Н И Я

(Русская симфония в четырех частях)

*...Вот и вышел гражданин,
достающий из штанин.*

Иосиф Бродский. Представление

Забор — он и есть забор. Загораживает, одним словом. И чего только на нем нет. Бурные политические страсти нашего времени запечатлелись на нем вкривь и вкось наклеенными листками, обрывками газет от «Антисоветской правды» до «Красной звезды». Впрочем, тут и про обмен можно почитать, и щенками многие интересуются. И все это шуршит обрывками, пожелтевшими от дождя, дышит. Гласность, короче. Демократизация. А вот среди всего этого многообразия мнений можно разглядеть, если кому интересно, конечно, скромные такие листовки, самиздатовским шрифтом повествующие о том, кто есть кто, то есть кто режиссер, а кто актеры, а кто — просто так. И как вообще все это называется. Короче, это титры. Как говорится, скажи мне — какие титры, и я скажу, кто ты.

А между тем, чтоб не скучно было читать рваные листочки с фамилиями, замелькали вдруг вдоль забора люди, засвистели милицейские свистки и даже как-то излишне отчетливо, почти натуралистично, послышались оплеуха, «твою мать» и непременно при всякой бузе «только без рук, блин... Руки убери, говорю...» Вот тут-то и обозначилась в заборе большая дыра, а в ней суета какая-то непотребная. Вроде стоит кинокамера, осветительные приборы — кино вроде снимают. Однако менты почему-то не дают. От камеры мужика с бородкой оттаскивают, а он упирается. И все лезут, пихаются, доказывают — ничего не понять.

— Нельзя так снимать! Все! Отойдите, — горланит мент.

— Нет, по какому праву, кто тебя спрашивает, тебя, да...

— А зритель, что? Он что, должен смотреть на это? — негодует главный мент, но негодует благородно, с сознанием исторической правоты.

— Ах, зритель, блин! Зритель, — взорвался мужичок с бородкой, режиссер, наверно. — Он про зрителя, значит, вспомнил, да?

Что тут началось... Мужичок этот, значит, словно обезумел — лез на мента, плевался, его уже держали свои, но он вырывался, кричал, рвал на себе фуфайку. Ну, просто припадочный, даже менты опешили.

— Где этот зритель? Пусти, блин, — ревел мужик и тыкал рукой в экран. — Там? Да? Расселся! Да? Приперся? В зале сидит? Дай я ему скажу, суке... Я ему все скажу... Скотина! Пусти, блин... Я ему такое скажу!

Но тут припадочного свои утащили, чтоб не забрали, а менты в злобе схватили плюгавого с хлопушкой.

— Фамилия! Не напирайте, не напирайте, — мент вчитывался в удостоверение.

— Весник, я сказал, — лепетал плюгавый.

— Да, Боря Весник, — встрял администратор. — А в чем дело? Он трезвый, Борис Вениаминович... Про него великий пролетарский писатель сказал, между прочим...

— Вы что мне тут заливаете, я не вам, гражданин, — разозлился мент. — Не напирайте.

— Знать надо, да, — осмелел вдруг администратор и повернулся, вскинув голову, к толпе.

— Над седой равниной моря гордо реет Боря Весник! — торжественно зачитал он и указал на плюгавого. — Про него... Документ смотрите, Борис Вениаминович Весник. Не состоял, но привлекался, правда...

— Вот-вот! — вдруг вырос, как из-под земли, гражданин патриотического вида, в ушанке. — Незаслуженно воспетый! Как все они... Что, нет, скажешь? Я другое прочту, пустите. Стихи, это стихотворение, без названия... Но это духовность, блин, не то, что...

– Сограждане мои, которые сегодня... – надрывно начал мужик, но не кончил, прервался, ввязался в потасовку.

– Ну, ты, руки не распускай, козел, – донесся его голос.

Короче, не дали дочитать стих. Толкаясь, препираясь, потащились все гурьбой вдоль забора к милиционерскому газнику отводить Борю Весника – за что, непонятно.

Итак, забор опустел, и можно теперь дочитать титры-листочки. Они все больше и больше погружаются в темноту, вечер, наверно. Откуда-то несет дымом, похоже, что-то горит поблизости – отблески пламени мелькают на рваных листках. Почему-то гремит гром, и вообще становится как-то тревожно, неудобно. Затем все гаснет, и в темноте, очень близко, так, что даже слышно дыхание, причем интересно другое – откуда взялся, за забором, что ли, стоял, ну, как бы то ни было, а раздался гадкий такой, противный смешок, и некто скомандовал: музыку!

Итак, *Апокалипсические сновидения, Русская симфония в четырех частях!* Але!

I. Аллегро

– О-па! – раздался радостный возглас. – Ну, блин...

Прямо у стены стоял человек в трусах и майке, в ботинках на босу ногу, и, широко улыбаясь, хлопал себя по груди и по ляжкам, словно собрался танцевать. Вся странность, однако, была в том, что появился он, натурально, из стены.

– Иван Сергеевич, ну, гляньте. Нина Степановна... – взмолился весельчак, обращаясь к кому-то в глубь кабинета. И тут же исчез в стене, а секундой позже появился снова.

– Ну?! Просто явление природы! Иван Сергеевич...

– Ты бы, Мухин, лучше лампочки в коридоре починил. И в туалете. Ни одна не горит, – наконец, отозвалась Нина Степановна с укором в голосе.

Была она немолода, чиновного вида, сидела возле стола Ивана Сергеевича, как на приеме, и сморкалась в платочек, всхлипывая. Иван Сергеевич – директор интерната, совсем еще молодой человек, сидел на своем столе и накручивал без остановки диск телефона. На Мухина он даже не взглянул – не до того было.

– Могут и вертолет прислать, и катер, – плаксиво подсказывала Нина Степановна, – это же дети...

А между тем в кабинете директора было нехорошо как-то. Очень даже нехорошо. В полутьме плясали на стенах отблески огня, гудело за окнами, будто океанский прибой, и соответственно хлюпало, дребезжало, вздрагивало, как при землетрясении. Такие дела... Однако все это никак не устрашило Мухина, даже, наоборот, как бы развеселило еще больше, и он, похлопывая себя молодецки, двинулся к столу, на призывную фразу Нины Степановны насчет лампочек в туалете.

– А что лампочки, что? – улыбнулся Мухин многозначительно. – Теперь это без разницы... Я так понимаю...

– Алло, девушка, – наконец-то прорвался Иван Сергеевич и растерзанно возопил в трубку: – Подождите, не вешайте... Что? Это интернат вас беспокоит, Поклонная двадцать пять. Соедините... А, черт! Ну, что делают!

Иван Сергеевич в сердцах шмякнул трубку на рычаги.

– Давайте я попробую, – предложила Нина Степановна.

Иван Сергеевич отодвинул от себя телефон и поднял глаза на Мухина. Ничего хорошего в его взгляде не было. Мухин понял и направился к стенке, восвояси.

– Я что, я только продемонстрировать, – вроде как извинился он. Однако при виде стены глаза Мухина снова сверкнули нездешним торжеством. И с криком «о-па! о-па!» он проскользнул в стену. Как не было.

– Он и по воде может ходить, научился поганец. Я видела, – донесла Нина Степановна.

Иван Сергеевич ничего не ответил. Взял со стола сигареты, подошел к окну, открыл балконную дверь.

Волны были большие, черные, с пенными гребешками. Под балконом все было затоплено – торчали крыши домов, фонари, продолжавшие гореть почему-то. Все было

залито желтым, неживым светом, непонятно откуда идущим, потому как небо было черным. Абсолютно черным – ни звездочки, и только изредка на нем вдруг вспыхивало багровое пламя, пробегая от края до края, и тут же гасло. Такие дела...

В коридоре интерната толпились дети, уже построенные парами, с мешочками-рюкзаками на плечах. Бестолково бегали, суетились воспитатели – пересчитывали, покрикивали, подталкивали. На лестнице, ведущей на пятый этаж, был затор. Ни туда ни сюда.

– Першин! Першин, убью, мерзавец! – надрывалась воспитательница на лестничной площадке, запруженной детьми, но достать стриженного под нулевку дылду, затеявшего на лестнице драку, не могла.

– Всех на пятый этаж, – распорядился на ходу Иван Сергеевич, – если надо – на чердак поднимайте, там открыто...

Сказал и исчез на пустой лестнице, ведущей на третий этаж.

Зеркало висело на стене, за полкой с учебными пособиями. Было оно пыльное, небольшое, да и в помещении было не слишком светло – полутьма, одним словом. Потому Иван Сергеевич, можно сказать, влез в зеркало лицом, даже дыхание расплывалось мутными пятнами. Причем – что интересно, он нельзя сказать, чтобы разглядывал себя, скорее другое... Взглянув двумя руками за физиономию, он словно пытался сдвинуть некую маску, снять ее, будто не доверял изображению. Наконец, обессилив от бессмысленной борьбы, он замер, ошеломленно вглядываясь в собственную физиономию, почему-то вызвавшую в нем такие противоречивые чувства.

– Михеич, – дрогнув голосом, позвал он в глубь помещения, откуда доносились легко узнаваемые звуки столярной работы.

– Ну, – был ответ, сопровождаемый шагами и тихим плевком.

– А что... у меня с лицом? – прямо спросил Иван Сергеевич.

– Где?

– Ты на свет посмотри... Что?

Они подошли к окну поближе.

– А что? – не понял Михеич. – Что не так?

– Ну другое же лицо! Не мое! – выпалил Иван Сергеевич в сердцах. – Голос мой, выражение... а лицо нет! Глянь...

– Почему? – насупился столяр. – Все как было. Ну похудели малость. Вообще темно здесь. Да вы не нервничайте. Идемте лодку посмотреть, – повеселев, предложил Михеич, – щас смолить будем.

И действительно, двое парней в центре комнаты ставили на бок большой зеркальный шкаф, подбитый снизу досками. Ну, чем не лодка?

– Доска толстая, хорошая, как плот будет, – пояснил не без гордости Михеич. – И весло имеется... До обкома доплывете... Там мелко. Они на горке стоят...

– А зеркало, оно мешать будет...

Иван Сергеевич недоверчиво открыл дверцу шкафа.

– Зачем? – возразил столяр. – Наоборот... Сядете, дверцей прикроетесь, от волны... Очень удобно.

– Если снимать дверь – все развалится, – уточнил один из парней.

– Ну, так смолить? – нетерпеливо перебил столяр. – Как скажете?

– Смолите, – обреченно выдохнул Иван Сергеевич.

Мелкая волна, но сильная под ветром, с гребешками, шуршала под железной сеткой казенной кровати. Иван Сергеевич лежал на боку, подложив под голову какую-то тряпку. Дремал, чуть приоткрыв глаза, смотрел на воду, щепки, листки школьных тетрадей, плавающие в воде.

Неподалеку раздался скрип двери.

Свет скользнул по воде, по фигуре лежащего Ивана Сергеевича.

– Темно как... Спит он, что ли, – донеслось перешептывание женских голосов.

Воспитательница Ирина, молодая, интеллектуального вида, весьма энергичная, и Нина Степановна стояли в дверях со стеклянной банкой-лампой в руках,

– Извините, мы разбудили, наверное, – приблизилась Нина Степановна.

– Дозвонились? – Иван Сергеевич сел на кровать, опустив ноги в воду.

– Нет еще, – вздохнула Нина Степановна.

– Да, бесполезно звонить, ехать надо, – решительно заявила Ирина. Она подошла к Ивану Сергеевичу и села на кровать, напротив него, тем самым давая понять, что предстоит разговор некий.

– Вот, мы подумали, – начала Ирина.

– Вы только не обижайтесь, Иван Сергеевич, – подхватила Нина Степановна.

– Да, без обид, пожалуйста, тут нет ничего обидного, – продолжала Ирина, – но вам нужно отрепетировать, так сказать... поездку в город... понимаете?

Иван Сергеевич молчал.

– Ну, вы же человек интеллигентный, мягкий, придете к Маздухиной просить катер, а вам... не дадут, – пояснила Нина Степановна.

– Почему не дадут?

– Потому, что просить не умеете... А надо так сказать, чтоб содрогнулась она...

– Чтоб все содрогнулись! – подсказала Нина Степановна. – Это же дети! Дети гибнут!

– Идемте, – Ирина решительно поднялась, – порепетируем, все получится, я уверена... Я научу вас... давайте...

– Конечно, получится. Не бойтесь, – подтвердила Нина Степановна.

В полутемной учительской все было готово к репетиции. Командовала Ирина. Другие – толпились по углам.

– Так, хорошо, – окинула взглядом помещение Ирина.

Все притихли.

– Значит... Это как бы обком, – пояснила она Ивану Сергеевичу, показывая рукой вокруг. – Нина Степановна... как бы Маздухина. Понимаете? Как бы это кабинет Маздухиной. Ну?

Иван Сергеевич бестолково топтался на месте, молчал

– Значит вы только приплыли, вошли, – зашептала Ирина, гипнотизируя директора, – и должны сказать. Понимаете?

– Ну, найти такие слова, такие... – не выдержал кто-то. Но Ирина прервала:

– Тише, пожалуйста...

– Я понимаю, я сейчас... – закивал Иван Сергеевич. – Значит, я вхожу.

Он вернулся к балкону и начал двигаться к столу.

– Я директор интерната, – неуверенно начал он, обращаясь почему-то к Ирине. – У нас тут вода, все затопило... Надо спасти детей. Вертолет или катер... – совсем стусежавшись, закончил Иван Сергеевич.

– Ну как так можно? – вскипела Ирина. – Вертолет, катер... Кто так просит? Никакого чувства! Я должна волнение ваше почувствовать! Отчаяние. Что вы способны на все, что угодно... Должна увидеть слезы в глазах. Мужские слезы, да-да...

Она вдруг торопливо порылась в карманах и протянула Ивану Сергеевичу две луковицы.

– Ешьте немедленно, – тихо приказала она.

– Зачем это? – опешил Иван Сергеевич.

– Чтоб слезы делать. Отличное средство. Ешьте...

Иван Сергеевич начал жевать лук, слезы, надо сказать, действительно тут же выступили на глазах, а лицо в силу этого приобрело трагическое выражение.

– Так, хорошо, – похвалила Ирина. – Давайте спокойно, еще разок... Значит вы выходите, еще мокрый, из воды. У вас отчаяние в глазах... так? Потому, что вода поднялась... Вы представляете, что дети уже на крыше сидят, а некому помочь. Нет катера. И вы понимаете, что времени очень мало. От вас все зависит сейчас... Ну...

Иван Сергеевич затравленно оглянулся, отступил на шаг, набрал в грудь воздуха и вдруг заорал не своим голосом:

– Катер дайте! Там дети тонут!

Здорово крикнул, ну, просто удивительно громко. И с чувством. Все приумолкли.

– Хорошо! Очень хорошо! – прервала паузу Ирина и повернулась к сослуживцам, ища поддержки.

Те зашумелись, задвигались.

– Очень сильно, я прямо вздрогнула, – донесся голос Нины Степановны.

– Я чуть не заплакала, – ответил кто-то, но не закончил фразу, потому что вокруг захлопали в ладоши, грянули аплодисменты.

– Ну, вот видите, – счастливо улыбалась Ирина, показывая на сослуживцев.

Иван Сергеевич, конфузясь, отступал к двери, дескать, ну, что вы, ничего особенного, пока не наткнулся на столяра.

– Ехать надо, Иван Сергеевич. Вода сильно идет, – сказал Михеич, и, словно извиняясь, добавил: – Я говорю, нет времени совсем.. Нет времени..

Шкаф хорошо держался на воде – не подвел Михеич. Иван Сергеевич резво взмахнул веслом, еще и еще. Шкаф весело двинулся в бушующую стремнину. В набегавшую волну. Дверца-зеркало играла лучами, отражая неживой желтый свет и багровые всполохи. Провожать вышли все. Стояли на балконе, махали платочками.

– Красиво как, – вдруг вздохнула Ирина, вглядываясь в бушующий простор.

– Что? Вы про что? – не поняла Нина Степановна.

– Я говорю, красиво как, – возбужденно раздувая ноздри, повторила Ирина. – Волны, небо в зарницах, ветерок... И этот свет... Невечерний какой-то. Что-то запредельное во всем этом... Что-то берущее за душу... Петь хочется...

– Слышите? – вдруг перебила другая дамочка возле Ирины.

– Колокол! – сверкнула глазами она. – Точно, колокол...

– В церкви звонят, – выдохнула Ирина и, закрыв глаза, зашептала что-то беззвучно, закивала, раскачиваясь.

Таковыми и запомнил их, наверно, Иван Сергеевич, русский интеллигент, наследник Толстого и Достоевского.

А что касается колокола – то это была сущая правда. Звонили. Часовня одиноко торчала из воды, поражая проплывающих мимо своим архитектурным величием. Тут и там, на выступах и в проемах мерцали огоньки свечей, чернели фигуры молящихся. И звучный голос, перекрывая нестройное пение, читал тексты из Апокалипсиса.

Иван Сергеевич поднялся в шкаф, придерживая весло, перекрестился широко, по-православному, и поплыл дальше. Навстречу неизвестности, добавим от себя.

Зеркало висело в прихожей – узком коридорчике гостиничного номера. Света, понятное дело, не было – то ли лампа сторела, то ли просто так отрубили, для экономии. Короче, было темно. Поэтому Иван Сергеевич извел без малого коробок спичек, однако ни к какому окончательному выводу не пришел. С одной стороны, совершенно понятно было, что лицо не его. Другое лицо. Можно сказать, чужое. Хотя очень похожее. С другой стороны – голос тот же, а главное – ощущал он себя, как говорит, самим собой. Да... Такие дела...

Последняя спичка, скользнув огоньком вдоль небритой щеки, погасла.

– Странно... – сказал Иван Сергеевич.

Подошел к окну, взял стакан, вылил остатки чая на подоконник и посмотрел в окно. А надо сказать – было на что смотреть. Отсюда, со второго этажа гостиницы, улица казалась совсем близкой, а по ней, как в давние годы демонстраций, двигалась бесконечная толпа. Со знаменами, плакатами – кто за что, не понять, темно было.

А дальше над крышей дома начиналось зарево. Но это слабо сказано – зарево. Огонь багровый, пробегающий по черному небу от края и до края... Огонь поедающий, пожирающий, так можно сказать. Вот такую картину увидел из окна Иван Сергеевич, увидел и, вылив, как говорилось уже, остатки чая на подоконник, вышел из номера. Важно заметить, что вид из окна никак не смутил его, не вызвал эмоций, не

последовало никаких размахиваний руками или глупых возгласов типа «Что это такое?», «Что творится?», а потому можно заключить, что воистину человек ко всему привыкает. Постепенно, конечно.

В коридоре гостиницы жизнь шла своим чередом: сидели вдоль обшарпанной стены на узлах люди в тюбетейках, спали, играли в карты, варили на примусах национальные блюда, воспитывали детей. Иван Сергеевич со своим пустым стаканом бодро вклинился в этот устоявшийся быт, привычно перешагивал через спящих, в меру извинялся и просил прощения. Короче, свой среди своих. Подошел к жестяному баку в конце коридора, налил кипятка в стакан.

– Триста тринадцатый! Подойдите, – окликнула его дежурная по этажу. Подошел безропотно, а как же.

– Завтра съезжаете. До двенадцати, – сурово сказала дежурная.

– У меня продление, – возразил Иван Сергеевич, но не очень уверенно. – Я по командировке...

– Никаких продлений. Утром освободите номер, – заключила она.

При словах о номере некое оживление произошло в коридоре. Зашушукались, зубубнили на языке Саади и Фирдоуси отчаявшиеся люди у стены. Ладный джигит тут же оказался возле дежурной, прижимая к груди, но так, чтоб видно было, коробку конфет «Красный мак». На Ивана Сергеевича он посмотрел в том смысле, что, дескать, либо вали из номера – либо джихад!

Итак, Иван Сергеевич, сопровождаемый взглядами, двигался в обратную сторону. Перешагивал, извинялся. Однако возле одной из дверей неожиданно остановился, прислушался, постучал. Дверь открыли.

– Извините, я услышал, у вас машинка пишущая, – ласково начал Иван Сергеевич. – Вы, наверно, писатель?

– Писатель, писатель... – раздалось из темноты. – А что тебе надо?

– Видите ли, я приехал насчет детей... Мне заявление напечатать. Иначе не принимают...

– Что, пьяный? – шепотом спросила другая фигура, обозначившись на фоне огненного окна.

– Трезвый он... Машинка нужна, – раздумывала первая тень.

– Я трезвый, что вы, – заволновался Иван Сергеевич. – Я врач, из интерната... У нас все затопило, катер нужен... Мне заявление напечатать, Маздухиной... Вы извините, пожалуйста, если не вовремя...

– Не вовремя, – согласился первый. – Но напечатать дадим, если по-быстрому...

– Конечно, по-быстрому, пару минут, – согласился Иван Сергеевич и шагнул в темноту.

– И я, как русский интеллигент, наследник Толстого и Достоевского, сижу в гостинице уже второй день, не могу получить катер, – вещал Иван Сергеевич, вышагивая на фоне огненного окна.

Печатать, как выяснилось, он не умел, поэтому за машинкой сидела девица из той же писательской компании.

Двое других оказались мужчинами средних лет, уже слегка поддатými. Они пристроились на кровати, разложив между собой газетку и на ней – все, что положено в таких случаях – стаканы, бутылка водки, руками разломанный хлеб и куски колбасы.

Одного из них назовем для простоты Писатель, другого – Журналист.

Итак, в данный момент Писатель чистил зубами колбаску и неодобрительно поглядывал в сторону машинки.

– Что за стиль, канцелярщина, – буркнул Писатель, разрывая кожуру.

– Я ж говорю, – согласился Журналист, – все писать начали, как будто это так просто...

Чокнулись, проехало. А между тем, не чувствуя подвоха, Иван Сергеевич продолжал диктовать:

– ... так как по причине Страшного суда не выдают временно транспортные средства. Но если данное явление природы, в скобках – Страшный суд...

– Можно не писать, уже было, – на ходу отредактировала девица.

– Ну, да... явление природы, действительно, имеет место, как считают ученые, почему не эвакуировать детей? Спрашивается...э... одну минуту, сейчас...

Иван Сергеевич задумался, мучительно выискивая заветное слово, но был прерван громоподобным окриком.

– Не стыдно тебе? А? Не стыдно? – взвился над кроватью Писатель.

– Что такое? – опешил Иван Сергеевич. – Вы мне?

– Что? Позор! До тебя Толстой писал, Чехов! Сам себя наследником называешь и что? Каким стилем ты изъясняешься? Канцелярщина, тьфу! Вырви листок, – приказал он девице, – не могу я этого видеть.

Девица послушно вынула лист из машинки, бросила на пол.

– Можно иначе, наверное, – дипломатично согласился Иван Сергеевич, – но ничего на ум не приходит. Мне главное попросить, чтобы катер...

– Катер, твою мать! – передразнил Писатель. – Катер, ему главное! Ну? А с чего ты начал? Начал с чего? Ты вспомни... – он поискал глазами перед собой на газете, схватил кусок колбасы. – Вот. У Платонова. Колбасу на гробе жены резал. Вот начало! А ты что? Наследник, тоже мне...

– Ладно, не заводись, хрен с ним. Пусть пишет, – попытался смягчить Журналист, разливая водку по стаканам.

– А ну его, – согласился Писатель и пригубил.

– Давайте... еще раз, – Иван Сергеевич протянул девице чистый лист. Сконфузился он, надо сказать, до крайности.

– Надо как-то иначе... действительно...

Иван Сергеевич заискивающе смотрел на девицу, словно ожидая подсказки.

– Вы, главное – сразу действие, а то никто читать не будет, – поучала она.

– Я понимаю, да, – закивал Иван Сергеевич. – С чего бы начать не знаю... Фразу не могу найти...

– Начните с описания природы, – подсказала девица, – а что? Это в традициях русской литературы...

– Да, что ты несешь, дура! – подскочил к машинке Писатель, не выдержав. – При чем здесь природа? Характер! Вот что! Дети, так? Какие? Я их увидеть должен, сразу, понимаешь?

Иван Сергеевич зашагал по комнате туда-сюда, чувствовалось, какое-то прозрение посетило его.

– Конечно... Как же я не подумал, – произнес он, окинув всех взглядом, словно собираясь что-то сказать, но вместо этого почему-то направился в туалет.

– Я сейчас, извините... – бросил он на ходу.

Писатель и Журналист переглянулись: дескать, ну, что ж, бывает...

В туалете возле раковины горела свеча в банке, как и повсюду в гостинице.

Иван Сергеевич первым делом спустил воду, открыл кран, чтоб потекла вода – короче говоря, изобразил звуки, сопутствующие посещению подобного места. А сам тем временем, торопливо порывшись в карманах, достал луковичку и начал быстро ее поедать, глядя на свое лицо в зеркало, висящее над раковиной. Слезы тут же выступили на его глазах.

Между тем Писатель, воспользовавшись отсутствием гостя, разливал в стаканы.

– Давай по чуть-чуть, – предложил он девице, и тут же начал наливать водку в ее стакан.

Хлопнула дверь туалета.

Иван Сергеевич вошел. Лицо его было мокро от слез.

– Дети... – дрогнув голосом, начал он. – Это такие дети... Это особые дети... Они... там разные... У одного мать сожгли, он из Баку. У другого убили всю семью на глазах... Тут главное, конечно, характер. Особый характер, тут в принципе нарушена

психика. Они жить не хотят!.. В этом проблема. К тому же непонятно, как их лечить... Тем более и лекарств нет никаких. Ну, это все знают... Это не интересно...

Иван Сергеевич прервался, достал платок, высморкался, хотел еще что-то сказать и не мог – слезы душили его.

– И ты молчал? – потрясенно прошептал Писатель. – Ты понимаешь, что у тебя в руках?! Какой материал?!

Писатель со значением оглядел всех присутствующих.

– Бестселлер. Убойная вещь, – поддакнул Журналист. – Любое издательство напечатает...

– Миллионер будете, – улыбнулась совсем по-свойски девица и шмыгнула носом.

– И он молчал, а? – не успокаивался Писатель. – А ну, налей ему. Давай-давай...

– Нет, что вы. Я вообще-то не пью, – засмутился Иван Сергеевич.

Налили, чокнулись.

– Я б сам такую вещь сел писать. Бери колбаску, – вместо тоста сказал Писатель. – Ну, поехали...

Но не тут-то было. Завизжала дурным голосом девица, отшвырнула от себя стакан, вскочила на кровать.

– Змей! Змея зеленая... вон она! – вопила девица, загораживаясь подушкой. – Ну, вон же, вон же...

Иван Сергеевич взглянул в свой стакан и, отшатнувшись, отбросил его тоже. Отбросил и руки начал вытирать об пиджак, как будто бы держал в руках жабу.

– Вы что это, – начал Писатель, но осекся, схватил бутылку и поднял ее на свет. Пусто было в бутылке.

Все посмотрели на девицу.

Она улыбалась, весьма глумливо, надо сказать.

– Шутка, ну? – засмеялась она. – Шутки пьяного мишутки. Не понимаете, что ли?

И, тыкая пальцем на Ивана Сергеевича, она просто зашлась смехом. А смех, как известно, весьма заразительная эмоция. И вот уже все четверо смеялись, подзадоривая друг друга, непонятно над чем, но, в общем, какое это имеет значение. Смеялись и все.

– Небо, небо, небо, небо, не-бо, Тучами укрой родную землю...

Именно эта песня и звучала из репродуктора в гулком помещении вестибюля, а может другая. Спецназ, человек шесть не больше, укладывал мешки с песком на широкие подоконники обкомовских окон. Один из парней, непонятно с чего, веселился, как на свадьбе, – забросив мешок, он с прихлопами и притопами направлялся за следующим. Вот так, пританцовывая и прихлопывая, он продефилировал мимо пяточка, неизбежно сопутствующего каждому памятнику основоположнику и основателю. Надо думать, не памятник Ильичу, а что-то другое привлекло его внимание.

А картина была такая – под памятником стояла Маздухина в окружении двух шестерок. Одна шестерка, низко склонившись, чистила щеткой замызганный глиной маздухинский подол, другая держала в руках ейный плащ и ейную сумочку.

– Извиняюсь, товарищ Маздухина, – встрял весельчак, – песня такая есть: «я себя под Лениным чищу»... Чтоб... это, «чтобы плыть в революцию дальше...»

Он кивнул вверх, на памятник.

Маздухина посмотрела вверх, потом на солдатика.

– Ну и что?

– Ничего, просто вспомнил. Стоите так... Как в стихах сказано...

– Новенький, что ли? – спросила Маздухина у шестерки.

– Да тут все новенькие, нагнали черт-те кого...

– Извиняюсь, – ретировался солдатик.

– Быдло, – прокомментировала шестерка.

Сумрачно было в обкомовском дворе, тревожно. Сигналя желтыми фарами, черные «Волги» пробивались среди военных грузовиков, раздвигая толпящихся в ожидании погрузки солдат. Все вокруг двигалось, гудело, слепило фарами, хлопало дверцами машин и материлось голосами обкомовских шоферов.

Маздухина шла через двор в окружении сподвижников.

— Ну, где машина? — не оборачиваясь, бросила она за спину.

— Я дважды в гараж звонил... — был робкий ответ из-за спины.

— А надо сбежать, а не звонить. Звонил он...

Черная тень метнулась от высокопоставленной группы в темноту. Стояли, ждали, прикрываясь от ураганного ветра.

Вдруг, как говорится, откуда ни возьмись — из темноты двора, из тревожно скользящих фар вынырнула фигура русского интеллигента, наследника, и приблизилась к Маздухиной на расстояние протянутой руки. В прямом и переносном. Маздухина демонстративно не замечала вздрагивающую на ветру фигуру.

— Товарищ Маздухина, товарищ Маздухина! — выкрикивал Иван Сергеевич, пытаясь попасть в поле зрения. — Одну минуточку. Извините, если не вовремя, но я не могу ждать... Дети гибнут!

— Иван Сергеевич! — наконец прервала Маздухина изучение неба. — Вы русский язык понимаете? Нет катеров, нет солярки, ничего нет. Могу дать талоны на мыло...

— Не надо мне никаких талонов, — застонал наследник, — мне катер нужен, лодки, что-нибудь... Там же дети!

— У всех дети! — вспыхнула Маздухина. — Не надо давить на психику. Давайте без эмоций, по-деловому.

Но тут, сверкая фарами, подкатил обкомовский «ЗИЛ», захлопали дверцы.

— После замера поговорим. Замер у меня, видите? — смягчилась Маздухина. — Не мешайте, пожалуйста. — И тут же к сподвижникам: — Потапов! Где оцепление? Генерал Потапов!

— Уже выехали! Раньше нас будут, — был ответ генерала, молодцевато, как на параде. Орел!

— А вы это... — замаялась Маздухина, разглядывая кряжистую фигуру, возникшую перед ней, — вы почему, извиняюсь, без штанов?

И действительно, странность была в генеральской одежде. Китель, фуражка — чин чином, пуговицы блестят, а вот внизу — конфуз. Огромные сатиновые трусы гулко хлопали на ветру, как парус. И надо сказать, никак не украшали Потапова подвязки для носков 1953 года выпуска.

— Так это... форма одежды новая, в связи с событиями, — оправдывался генерал. — Кругом же вода, брюки моknут. Неаккуратно... Я ввел новую форму одежды. Приказом. Если имеются возражения — могу отменить...

Вокруг бегали, толкали, мешали говорить.

— Колониальная форма, — уточнил гэбэшник, прикрывая почему-то шляпой лицо — от ветра, что ли? — Американцы в таком случае шорты носят.

— Так я и писал в приказе — шорты, — воспрянул генерал, заглядывая в дверцу к Маздухиной. — Так где же их взять-то? Одна штука на гарнизон.

— Вот и одели бы, для примера, — заметила она. — Ну, что стоите, садитесь же. Ехать надо.

Загудело, заурчало, замигали мигалки на черных «Волгах», и процессия тронулась в путь.

Обкомовский ЗИЛ сильно трясло на ухабах. Впереди сидела Маздухина, сзади — гэбэшник, генерал и Иван Сергеевич.

— Ну как так можно, Иван Сергеевич? — поучала Маздухина. — Что мне вас из машины выпихивать, силой? Ну, что вы молчите?

Она повернулась и посмотрела на доктора.

— Ну вот, теперь плачете... А зачем было садиться в машину? Хотите разжалобить? На эмоции давите, так, что ли?

Иван Сергеевич действительно плакал, нелепо манипулируя платком возле носа.

– Так дети же, – как попугай твердил он. – Я умоляю вас... Что-то сделать... Вы меня знаете... Я бы не стал...

Идущая впереди «Волга» с мигалкой наверху завывала сиреной, освещая фарами группы людей, бредущих в развалинах непонятно куда и зачем.

– Ну что делать с ним? – вздохнула Маздухина, ни к кому не обращаясь, но уже явно смягчившись, так сказать, гуманизовавшись. –

А может, вертолет послать? Вон, в КГБ имеется...

Она кивнула на гэбэшника, продолжавшего и в машине прикрывать лицо шляпой. Похоже было, что он спал.

– Товарищ Залиуллин, – громко сказала она. – Тут надо помочь интернату. Вертолет требуется.

– Нет вертолет. Сломался... – плаксиво подал голос гэбэшник.

– Как так – сломался? – возмутилась Маздухина от такого явного вранья. – Все утро летал, тархтел над головой, листовки разбрасывал... И вдруг сломался.

– Никто не знат. Расследуем. Диверсия, она думат... – жалобно простонал гэбэшник и умолк на полуслове, как вырубился.

– Что это с ним? – спросила Маздухина с испугом.

Потапов недоуменно пожал плечами.

– Вроде трезвый...

Но не такой была человек Маздухина, чтоб не дойти до истины, до основания причин и следствий.

– Что у вас с лицом? – бестактно громко спросила она. – Что это вы шляпой тут прикрываетесь всю дорогу, я спрашиваю?

– Болею. Раздражение у меня. Нельзя без шляпа. Болезнь – она... – раздалось из угла. – Извиняюсь.

– Так вот и доктор здесь! Вон, доктор сидит, покажите, ну? – не отступала Маздухина. – А может, у вас заразное, а мы вместе едем.

– Действительно, полковник. Что вы кошку-мышку играете? – вмешался Потапов. – Давайте-ка шляпу сюда... Давайте, давайте...

Видит Бог, не следовало Потапову отбирать шляпу, ох, не следовало.

– Ой, мамочки! Ой! – заголосила Маздухина истошно, по-бабьи.

И было от чего. Прежде всего бросались в глаза клыки и непонятная, проступившая на лице мерзость – слизь какая-то. Да и форма того, что раньше было лицом, надо сказать, разительно изменилась. Верхняя часть была вроде как обезьянья, питекантроп – в лучшем случае, а вот нижняя совсем утерjala следы эволюции. Пасть – да и только. Ощутимо запахло сырым мясом.

– Лекарст, американска заказаны. Спецптек дает. Помогат мало, – оправдывался гэбэшник, затравленно зыркая хищным глазом. – Имундифцит, блят... Боротца будим!

Машины, сигнали и завывая сиренами, въехали прямо в центр милицейского оцепления, хотя никакого оцепления, в сущности, уже не было – была каша. Была паника. Милицейские газики, грузовики, пожарные машины – все двигались назад по размытой дороге, сдвигаясь, так как нельзя было развернуться, от чего-то ужасного, вероятно, потому как все были, прямо сказать, не в себе. Среди мелькающих в суматохе фигур эдакими братьями по разуму выделялись солдаты химзащиты с баллонами, как для опрыскивания насекомых, за спиной. В противогазах. Милицейский полковник бросился прямо на капот ЗИЛа и заорал:

– Назад! Назад, говорю, сдай! Твою мать...

Затем как бы сознание вернулось к нему, то ли разглядел он в машине Маздухину, короче, бросился к ней, к открытому окну дверцы и побежал рядом с машиной, докладывая на ходу.

– Лезут! Вот крест, лезут! – захрипел он сорванным голосом прямо в лицо Маздухиной. – Ничего не могу! Все!

И вдруг, рванув на себе ворот, возопил:

– Матушка-заступница, Алевтина Ивановна! Вызывай войска! Артиллерию! Звони в Священный синод, в епархию! Святой водой, залпом – одно спасение... Гибель идет... Детки малые, пионеры... Не дай погибнуть!

И тут же шарахнулся в сторону, в толчею и закричал кому-то:

– Кардобин! Отходи к балке, мудила! Бросай технику!

Маздухина вылетела из машины яко вепрь.

– Ты что разорался, психушник?! Полковник! Полковник...

Но того и след простыл. Вот-те нате...

Поднимались по темной лестнице какого-то брошенного дома. На лестничной площадке возле выбитого окна остановились, и офицер спецназа сухо сказал:

– Отсюда видно. Возьмите бинокль.

Маздухина приложила бинокль к глазам:

– Где? Ни черта не видно.

– Сейчас свет дадим, – так же сухо ответил офицер и рывкнул в переговорник:
– Семенчук! Направь на объект.

Луч прожектора скользнул по чахлым кустикам, потом замер на пустыре, где шевелилось какое-то месиво. Но это так, для глаза невооруженного, так сказать. А для Маздухиной через бинокль все было, в десятикратном. И потому она тихим и дурнеющим голосом выдохнула:

– Ох, мамочки родные... Покойники! Жмуры лезут...

Сквозь круглые окуляры видна была яма, вроде как дырка такая в земле. И из этой дырки, быстро-быстро перебирая руками и ногами, лезли люди в истлевших одеждах и так же быстро, по-пластунски расползались во все стороны. Как тараканы. Вот такой человеческий фактор. Неучтенный. Такие дела...

Давка была в переходе, перли с вещами, детьми – ну просто эвакуация, да и только.

– Я не к вокзалу! Ну, пустите же, – стонал Иван Сергеевич, стиснутый в толпе.

Все напрасно. Вместе с людским потоком его вынесло... Вот именно – вынесло, потому что непонятно было куда.

– Ахтунг, ахтунг, пассажирен, – вещал по-немецки вокзальный репродуктор.

– Этэншен, плиз, – прерывал его другой.

А попал Иван Сергеевич в замызганный тупичок, даже, вернее сказать, улочку между складскими помещениями. Была она запружена людьми, все лезли смотреть через головы друг друга, и понятно было, что здесь-то и есть главное. Посреди улочки был очищен проход – как всегда делалось при встрече высокого гостя, вот только менты в оцеплении стояли со свечами, что, конечно, обескураживало весьма. Удивляло. В толпе виднелись хоругви, распятия на шестах, что выносят обычно на крестный ход. Какие-то молодые люди в военных формах времен Русско-японской войны сновали по проходу туда-сюда. Оглядывали, окрикивали, раздвигали толпу. Наконец, грянул оркестр. Духовой, Его Императорского Величества лейб-гвардейского полка. Вышел в начало прохода, раздвинулся по сторонам, чтоб оставить место, и затих.

– Ахтунг, ахтунг, – задребезжал вдруг на стене склада, над головами репродуктор. И задребезжал-то как-то мерзко, с каким-то картавым прононсом. Ну, гад, все испортил.

Что тут началось. Вылетел на середину прохода казачий есаул и гаркнул что было мочи:

– Хлопцы! Да, шо ж это робится?! А ну сдирай енту гадину германскую, подстилку интуристовскую!

Казачки-пэтэушники мигом взобрались на крышу склада, а может, и сидели уже там, и дрекольем, баграми – по картавому! Хрясь! И вся недолга – как сказал поэт.

– Молодцы! Мо-лод-цы! – скандировала толпа.

И тут, на гребне патриотических чувств, снова грянули медные трубы лейб-гвардейцев. Троекратное «ура!» прокатилось над толпой и многие, кто знал, конечно, запели вместе с оркестром:

– Боже, Царя храни... царствуй на славу...

Иван Сергеевич подтянулся над головами соотечественников и увидел. В начале прохода стоял зеленый, металлоломного вида вагон, но старой конструкции. Дым отечества – от паровоза стоящего впереди, надо думать, – обтекал его ржавые бока таинственным туманом.

Из этой дымки, из этого загадочного марева вдруг проявилась на ступеньках фигура Государя Императора Николая Второго. Проявилась, сошла со ступенек и направилась по проходу к ликующему народу. А за царем-батюшкой появилось тут же и все убиенное семейство.

Шофер милицейского газика, прямо перед Иваном Сергеевичем открыв дверцу, стал на подножку, высматривая через головы. Какой-то мужичок, сильно нетрезвый, дергал его за китель, стараясь привлечь внимание.

– Ну, чего? – наконец не выдержав, тихо спросил шофер.

Мужичок, подмигнув, поманил его.

– Ну, – нагнулся шофер.

– Актеры драмтеатра разыгрывают, – сообщил мужичок заговорщески. – Актер это... Я его знаю... Их в КГБ вызывали, инструктировали... Вот и разыгрывают. Ну?

– Значит разыгрывают? – недобро переспросил шофер и спустился с подножки.

– Просто доказательств пока нет... Ты чего, командир? Чего? – пугливо отступал в толпу мужичонка.

Но тут страшно завизжали женщины, и вся толпа подалась вперед, сметая мужичонку, толкаясь, напирая друг на друга, стараясь оказаться поближе к Государю, а может даже и припасть к руке.

Но именно в эту минуту, драгоценную для каждого русского сердца, прожектора, освещавшие событие с крыши вокзального склада, замигали, теряя накал, вспыхнули пару раз беспорядочно и погасли. И наступила, надо сказать, глубочайшая тьма. Ни зги. Вопли, давка, выкрики истерические – все тут было. Ходынка, одним словом. Но только в темноте. Ну просто страшный рок преследовал Государя Императора. А тут еще, для полноты глумления, картавый, покалеченный репродуктор мстительно завершал над беснующимися:

– Ахтунг, ахтунг, пассажирен...

– Свеча горела на столе, свеча горела. Да, снег, вьюга, занесенные поезда... – пробормотал некто невидимый в темноте, поправляя свечу в пол-литровой банке. Ну, чем не лампа? Огонек устоялся, засверкал, освещая гостиничный номер Ивана Сергеевича, его самого – рыскающего в потемках в поисках утерянных носков и других предметов верхнего и нижнего, так сказать. Все это складывалось в рюкзак с тем, чтобы на утренней зорьке, по холодку покинуть пятирублевое пристанище. А там, глядишь, другие придут на его место давить тараканов и вращать в бесполезности водопроводный кран, из которого вода никогда не текла, даже на госприемке.

Наверно, так, а может быть, иначе думалось Ивану Сергеевичу в эту грустную минуту оставления обжитого очага, но, скорее всего, думалось именно так – в традициях отечественной беллетристики, не иначе, потому как он был наследник и русский интеллигент, о чем смотри выше.

А между тем в номере был еще некто, поправивший свечу в самодельной лампе и по сему поводу вспомнивший прекрасные строчки. Стало быть, знающий толк в российской словесности. Двумя эпизодами ранее был он назван, по легкомысленности автора, Писателем, что придавало ему, согласитесь, ироничный оттенок.

Впрочем, ничего ироничного в его облике сейчас не было, скорее, наоборот – все было таинственно и, даже можно сказать, романтично. Горела свеча, длинные тени скользили на ободранных стенах, и хотелось говорить о вечных вопросах и тайнах русского духа.

Итак, Писатель поправил свечу, налил водку в стаканы и продолжил свое шептание:

– Поезда... Кровь на белом снегу... Апокалипсические видения... Россия, кровью умытая. Да. Все так, только вопрос имеется: почему каждый из наших, отечественных духовидцев рисовал Апокалипсис? Почему бездны всегда разверзаются и никак не иначе? И непременно – у мрачной бездны на краю. На краю, понимаешь? Ну отойди ты, несчастный, от края, а то свалишься. Ан нет. Не тут-то было. Тянет его к последней черте – мочи нет. Взглянуть хочется. А там Апокалипсис. Там Бог с дьяволом борется за красоту эту, которая якобы спасет мир. Ни черта не спасет, доказано. Потому как сто сорок четыре тысячи спасенных будет на Страшном суде. И все. Это за всю-то историю?

– Из колена Израилева, так вроде написано, – уточнил Иван Сергеевич, разглядывая стакан.

– Ну, может, из Израиля, я плохо это место помню. Не буду спорить. Давай выпьем, Ваня, – предложил Писатель. – Я ведь чего пришел. Я спать не могу – все про твоих деток думаю... Ты глубоко взял. Ох, глубоко... Ты в самый корень российского духа копнул. И еще глубже, потому как если малые мира сего, сирые, безвинные детки жить не хотят, то кому же возможется? Я утром вскочил как ошпаренный, разбудил Нинку и криком ей: дура! Да это ж Толстой современный к тебе приходил, машинку выпрашивал. Достоевский! А ты, пьянь, поучала, как описание природы марасть... Шутки-мишутки показывала.

Помолчали. Время текло – часами тикало. Стекла дрожали в окнах. Дуло от них. Свеча мигала, вздрагивала, и потому, наверно, не сразу заметил Писатель, что его собеседник, как бы это сказать... Словом, обливался слезами самым натуральным образом, правда, беззвучно как-то, но от того, может, еще безутешнее.

– Ты что, Ваня? – опешил Писатель. – Я что, обидел тебя? Нет, ты скажи. Что с тобой? А ну, водички давай... Водички попьем...

– Не могу... Не могу так. Сил нет, – проскулил Иван Сергеевич. – Ведь правильно. Точно... Человек всю жизнь спит. Спит! Сон это... Во сне... Кошмар какой-то. Там дети тонут, а я... Что? Что мне писать? Какие такие глубины духа? Мне катер нужен. Ты понимаешь? Катер. Хотят они жить – не хотят... Вырастут – разберутся... Ты сумасшедший, безумец... При чем тут глубины духа, я тебя спрашиваю! При чем?!

Иван Сергеевич уже кричал. Бился припадочно, глаза закатывал.

– Вань, Ваня, водички давай. Попей, легче будет, – не отступал Писатель, пытаясь насильно влить воду в рот задыхающегося отчаянием собеседника.

Но тот вдруг вскрикнул дико как-то, не человеческим криком и, опрокидывая стул, рухнул поперек кровати. Откинул голову. Затих. Как неживой.

– Да это ж Мышкин! – осененно выдохнул Писатель. – Эпилепсия... Голубчик ты мой... Не узнал, не узнал тебя! Сейчас доктора позову... Потерпи, милый.

Последние слова доносились уже от дверей номера, ибо Писатель бросился в коридор, к дежурной за помощью. Надо сказать, что трухнул он порядочно – а вдруг как померет наследник, холеры не оберешься.

В коридоре была темень тьмушая. Спали постояльцы как перед битвой на Куликово. Тревожным сном. Мерцала лампадкой одинокая лампочка на столе у дежурной. Туда и направил свои стопы по телам, мешкам, узлам обезумевший от страха Писатель.

– Доктора! – выдохнул он в лицо дежурной, вцепившись руками в деревянную стойку. – Человек умирает. Эпилепсия...

Все ожидал услышать в ответ инженер человеческих душ и увидеть готов был многое, суровая школа жизни стояла за его плечами, но только не это. Вернее, не то, что он увидел.

Дежурная, глядя в него и мимо одновременно, раскрывала рот в мучительном крике, но беззвучно, словно боясь закричать, слегка повизгивая, и как-то замедленно, будто во сне. А главное дело, корчила рожи какие-то, абсолютно бессмысленные. Кривлялась, дрянь, при этом еще подпрыгивая на стуле – вверх-

вниз, вверх-вниз. Занавеска висела почему-то прямо за ее спиной и двигалась, как от ветра, хотя вроде бы ниоткуда не дуло.

– Вам плохо? – не нашел ничего лучше спросить Писатель.

– Хорошо... – простонала дежурная и тут же закатила глаза, вцепившись руками в барьер:

– Ой, ой, ой, не могу... Ой, ой...

Только тут до Писателя дошел сакральный смысл действия. Он хмыкнул весьма похабно и стыдливо зыркнул в темноту коридора.

– Отойди, шакал. Бесстыдник. Чего лыбишься? – послышалось оттуда, и огонек сигареты прочертил кривую дугу.

Тут откинулась занавеска за спиной дежурной. Усатое лицо дышало гневом и ненавистью.

– Я тебе, собака, сейчас резать буду! Сичас, сичас, – сообщило оно и тут же исчезло за занавеской.

Писатель не стал испытывать судьбу. Мигом помчался по коридору к черной лестнице. И там сгинул. Следом за ним тут же метнулась по коридору другая тень, застегивая на ходу брюки.

– Бегают, бегают... Спать не дают, – проворчал старик-узбек, поднимая голову с холодного коридорного пола. Поправил тюбетейку, зевнул и тут же, охнув, стремительно прижался к полу. Перепрыгивая через него, как на скачках, промчались над ним еще два джигита.

– Шайтан побери... Дня им мало, – разозлился старик, встал и направился к телевизору. Хоть время было позднее, но телевизор работал, негромко, правда, а все-таки мешал спать. Мягко ступая в теплых носках по казенному холодному полу, старик подошел к экрану, стал шарить по панели, выскивая кнопку отключения.

– Кто за Страшный суд, товарищи? Прошу голосовать, – предложил на экране очередной депутат, но экран тут же погас. Так что неясно было – чем кончилось голосование.

Вода уже достигла кое-где окон первого этажа, волны с пенными гребешками шумно двигались вдоль стен, задевая стекла. Прямо через окна какие-то люди передавали друг другу вещи, узлы – и все это водружалось на плечи и двигалось дальше по улице, к повороту, где воды было поменьше и светились витрины магазина, правда, уже разбитые.

Иван Сергеевич вышел из-за поворота и направился к телефонной будке, стоящей среди бушующих волн. За плечами у него был рюкзак.

Вода ровно стояла в стеклянной кабинке, но еще не достигала аппарата. Иван Сергеевич снял трубку и стал накручивать диск. В щели для монет, заботливо оставленная кем-то, торчала узкая щепка – обломок школьной линейки.

– Клавдия Семеновна? – закричал он в трубку. – Да... Иван Сергеевич... Узнали? Я тоже сразу узнал... А где Зина? Можно ее? Что? Что? Плохо слышно... Нет, в гостинице, но меня выселяют... Вы не могли бы... на одну ночь?.. Да? Спасибо. Большое спасибо... Сейчас буду... Да, прямо сейчас.

Иван Сергеевич повесил трубку и собрался уже было покинуть кабинку с легким сердцем, но тут непонятно почему, а скорее всего по привычке, глянул на свое отражение в грязном стекле кабинки. Оттуда, из потусторонней глубины, смотрело на него замученное скитаниями, сильно небритое лицо, никак не годящееся для нанесения визитов.

Иван Сергеевич провел ладонью раз, другой по жесткой щетине на своих щеках, затем вышел из будки и решительно направился куда-то по улице, разбивая волну.

Жизнелюбивый был человек Руслан Львович, надо сказать. Жизнелюбивый и любознательный. А в остальном, ничего заслуживающего внимания. Персонаж третьей руки. Фамилия – Епанько, профессия – парикмахер. Пережил Руслан Львович разные времена-эпохи и не скрывал, надеялся пережить и эту, эсхатологическую, как ее называют. А потому не терял надежды и проявлял живейший интерес ко всему новому

и необычному. Особенно к неопознанному. Может, улететь надеялся – кто его знает. Как бы то ни было, в данный момент проталкивался Руслан Львович среди толпы зевак, поближе к милицейскому кордону, причем был он в своем неизменном рабочем халате не первой свежести, с большой железной расческой в нагрудном кармане. Другими словами, все бросил и побежал, значит, смотреть.

– Да, вон она, тарелка. За химзаводом висит, – выкрикивали в толпе. – Вон луч! Свет пускает...

– Отойдите, товарищи, от барьера. Дайте проехать пожарным, – призывал мегафон милицейской машины.

В дверях парикмахерской толпились клиенты и коллеги, ждали, что скажет гонец. А может, просто не хотели лезть в воду, так как по всей улице, достигая порога, стояла ровным слоем грязная, в разводах вода, шевелясь под ветром мелкой рябью.

Епанько медленно переходил улицу, оглядываясь, прислушиваясь, поглядывая со значением на небо, при этом он задрал свой халат, чтоб не обмочить, обнаружив резиновые сапоги до колен – большой дефицит, надо сказать.

– Тарелка висит. Луч пускала, все видели, – по-обиходному, просто сказал он, входя в помещение. – Еще кто-то спорит...

– Потрясающе. Надо было фотографировать, – восхищались коллеги.

– Который раз – в мою смену, – удивился кто-то. – По пятницам...

Руслан Львович не стал дискутировать. Подошел к креслу, встряхнул помазок, прошелся слегка по уже застывшей пене на лице русского интеллигента и начал точить бритву.

– Тарелка висит над заводом, а там пожар, – весело сообщил он, ожидая реакции. – В природе столько загадочного...

Однако никаких «ах», «что вы», «где это» – не последовало. Глаза наследника в обрамлении пены были мрачны, суровы и к беседе не располагали.

На нет и суда нет – в полном молчании Руслан Львович прошелся бритвой с одной стороны, с другой, и на Ивана Сергеевича уставилось из зеркала чье-то свежесбритое лицо, вот только чье? Он аж подпрыгнул в кресле.

– Что-то не так? Я вас порезал? – засуетился мастер.

– Лицо... – прошептал клиент, – другое какое-то... Не понимаю...

– Ах, вы про это, – улыбнулся Руслан Львович. – Ничего страшного. С непривычки. Бородку сняли – что вы хотите, конечно, другое будет...

– При чем здесь бородка?! Вы что с лицом сделали, объясните? – упрямылся интеллигент.

– Ну как это при чем? – ласкающе, как с больным, уговаривал мастер, поглядывая на коллег, дескать, вот случай, нарочно не придумаешь. – Я, молодой человек, любого клиента за весь квартал помню. Вот, на полу ваша бородка. В этом все дело...

– Не знаю, – лепетал наследник, перебивая. – Это не я. Я же вижу. Не я! Вы объясните... Я понять должен...

– Ну, хорошо, – вдруг громко, уже обращаясь ко всем, подытожил Руслан Львович. – Пожалуйста, я дам бородку. Другую. Посмотрим...

И с этими словами он ловко приклеил к лицу потерпевшего этакую типичную интеллигентскую бородку-атрибут.

– Ну? – удовлетворенно развел руками мастер, призывая народ в свидетели. – Просто князь Мышкин, ей-богу...

Иван Сергеевич уже окончательно запутался в модификациях своей физиономии, и потому новый облик совсем сбил его с толку. Он молчал, разглядывая лицо и так и сяк, не без интереса, надо заметить, потому как образовалось некое соответствие между внешним и внутренним, так сказать.

– Одеколончик? – удовлетворенно вздохнув, предложил мастер. Успех, что называется, был налицо.

– Не знаю, не надо, наверно, – промямлил Мышкин. – Не беспокойтесь... Простите, я виноват... Доставил столько волнений... Вы простите меня, Христа ради... Дражайший...

Ну, просто на глазах входил в роль, ай да Иван Сергеевич, ай да русский интеллигент!

– Ни в коем случае, – отверг сомнения Епанько. – Одеколон – это точка, апофеоз, завершение. Это, если хотите, ассоциации. Запахи, привкус... Воспоминания. Петунии раньше росли, вы помните? Нет? Ну, неважно...

Он бережно, как драгоценность некую, поливал фыркающей струей лицо и голову преображенного, возбуждаясь все больше от терпкого запаха и раздувая ноздри, как наркоман.

– А женщины... Аромат тонких духов, запах пудры, лосьонов. Дезодоранты. А вот, например, запах пота, но это особенное, тут многие не понимают, а я ценю. Это знак, приманка, притяжение. Входишь в лифт, а там еще пахнет. А я чувствую – женщина здесь была. Незнакомка. Нюхаю, уходить не хочется... Или, скажем иначе, интимное кое-что... А кстати, у вас есть женщина? Друг сердца? Простите за фамильярность...

Епанько убрал свою фыркалку наконец и низко склонился к лицу князя, дыхнув гнилыми зубами. Весьма неприятный запах, надо сказать, зело зловонный.

Мышкин дернулся, как от яда, но, не желая обидеть цирюльника, ответил вежливо:

– Вообще-то я одинок... Не удостоился еще счастья... близости...

– Ах, вот как, – понимающе закивал тот, воняя зубами. – Понимаю... Так это – без проблем...

Руслан Львович перешел на шепот:

– Вон Сонька за третьим креслом стоит, доступная девушка... Или Анастасия, маникюрщица... Розанчик, этакий... Настя Илипова...

– Да вы что? Вы что себе позволяете? – вспыхнул князь, выскочил из кресла, начал салфетку-ворот сдирать. – Как вам не совестно, право, поражаете меня, милостивый государь...

– Об чем волнение? Я только как лучше, – оправдывался цирюльник. – Ну, простите, если не так... Дело житейское. Вам в кассу платить, – попридержал он за рукав клиента, собравшегося улизнуть.

Лестница дома была темная, грязная, с отколовшимися ступеньками – чтоб ноги ломать. Ломом били их, что ли, – одному Богу известно. Ну, и, понятное дело, на стенах... Размышления юношества, так сказать, о загадке происхождения гомо сапиенс как вида. В общем, все как обычно. Ничего интересного. Как говорится, не на что глаз положить.

Иван Сергеевич обошел на площадке перевернутый мусорный бак и позвонил в дверь, номер 13. В левый нижний звонок, потому как звонков было множество. Прислушался. И почудилось ему вроде как церковное пение из-за дверей, даже не по себе стало как-то. Что за черт? Приложил ухо к дверям – действительно, никак поют... Ветер гудел на лестнице, дуло со всех дыр, в окнах подъезда багровые всполохи отражались. Какое-то предчувствие висело в воздухе, как перед грозой. Холодный пот даже выступил у Ивана Сергеевича на свежесбрившем лице, потому как вдруг почудилось ему, что это никакая ни дверь, а вход некий, ворота, ведущие на тот свет, в запредельные выси миров иных. А он сам, значит, выходит, туда напросился, ибо уже позвонил в дверь, вот-вот откроют.

И точно. Обитая рваным траурным дерматином дверь сама собой, почти беззвучно, раскрылась вдруг настезь, и обнаружился коридор темный, бесконечный, заполненный огоньками свечей и лицами поющих, чуть различимыми в темноте, а из дверей прямо на лестничную площадку вышла дамочка – вся в черном, платочек такой же на голове, руки сложены на груди крестообразно, как это принято в церкви, перед причастием. Вышла и, продолжая напевать «Святыи Боже, Святыи Крепкий...», направилась по лестнице вниз. Отпустили, значит. До поры до времени. Чего,

однако, нельзя сказать про Ивана Сергеевича, зело грешен был, надо думать. Цепкая старушечья рука высунулась на лестницу, ухватила наследника за рукав и потащила вовнутрь.

— Чего стоишь, заходи быстро, — зашептала старушка. — Перекрестись на пороге, какходишь. Срам просто, прости Господи... Учить вас некому.

Дверь, щелкнув, захлопнулась за ним. Вот оно как бывает, оказывается.

— За женщиной в синем пальто будешь. Она последняя, — приказала старушка.

Иван Сергеевич ничего не понял — так быстро произошло все, — но это уже и не важно было. Слезы навернулись ему на глаза почему-то сами собой, захотелось петь вместе со всеми и каяться. Прощения попросить за все сразу, дескать, больше не буду никогда, исправлюсь...

Но тут кто-то снова потянул его за рукав. Энергичная молодая женщина, интеллектуального вида, пыталась отвоевать его у цепкой старушки.

— Это ко мне пришли, — объясняла она, — что вы толкаетесь?

— Ишь, заманивают! — упиралась старушка, пытаясь спасти приبلудного интеллигента. — Нечего ему там делать. Пусть здесь стоит.

— Стой здесь, спасешься, — тихо добавила она на ухо Ивану Сергеевичу, — а у них секта, они отлученные... — И уже громче, чтоб и другие слышали: — Они в огне гореть будут! Не пущу!

— Да что вы цирк тут устраиваете! — взвилась интеллектуалка. — Я говорю, ко мне человек пришел. Он в дверь звонил. Ваня, что ты молчишь? Скажи им. Ты к кому пришел? Ко мне или к жиличке, к этой?

— Тише вы! — зашикали на них со всех сторон. — Крещение идет, а вы разорались... Вон, службу прервали из-за вас...

Действительно, пение в районе кухни прекратилось, все зашумкались, задвигались, уставились на Ивана Сергеевича. Опять он был в центре внимания, опять оконфузился — да что за напасть такая. Покрываясь краской и пряча глаза, Иван Сергеевич промямлил вяло:

— Я вообще-то к Зинаиде Федоровне пришел, в гости. Действительно...

— Ну, видите? — торжествовала блудница. И, ухватив наследника под руку, потащила его сквозь толпу по длинному коридору коммунальной квартиры в свою комнату. В логово, значит.

— Ох, милый, не знаешь, куда идешь, — вздохнула ему в спину старушка. Но было уже поздно. Выбор был сделан.

А между тем ничего страшного в комнате у Зинаиды не было, если не считать двух бритоголовых молодых людей с восточным разрезом глаз, в набедренных повязках и босиком. При появлении Ивана Сергеевича они вежливо пошумкались и удалились в смежную комнату, откуда тянуло благовонными курениями. Кроме вышеназванных, была в комнате еще старушка-толстушка Клавдия Семеновна, мать Зины, и подруга хозяйки, Татьяна, такая же интеллектуальная и энергичная.

Иван Сергеевич долго снимал пальто, прилаживал рюкзак к полочке для обуви, а тот не хотел там стоять, падал. Короче, стеснялся, неловко ему было. Казалось ему — все понимают, пришел ночевать, напросился, а тут и так гостей хватает.

Зинаида увивалась вокруг него, говорила без умолку, старалась ублажить. Чего-то ей надо было от него. Неспроста, надо думать.

— Ну, я так рада, не можешь себе представить. Ну, это просто фантастика, как специально, — заглядывала она в глаза гостю, поджидая, пока тот сменит истоптанные свои туфли, с навечно завязанными шнурками, на выданные ему тапки. — Как только ты позвонил, что придешь, я тут же...

— Татьяна! — прервавшись, позвала она подругу. — Вот, Таня не даст соврать, я сразу сказала — это судьба. Все точно. У меня в гороскопе сегодня Юпитер во втором доме, понимаешь? То есть удача, стечение обстоятельств...

— Колоссально благоприятное, — подсказала Татьяна.

— Да, а она не знала, — перебила восхищенно хозяйка, — что ты врач...

– Я действительно понять не могу, чего она радуется, а потом вдруг как осенило, неужели врач, говорю, придет?

Обе расхохотались, переживая заново столь удивительную историю, правда, в чем смысл ее – Иван Сергеевич не мог понять.

– Мы тут с ног сбились – врача искали, – задумчиво сообщила хозяйка. – Тебя, наверно, замучили с этим делом...

– Я ведь не практикую давно уже. Я в интернате, директором, – промолвил гость, входя в комнату и присматриваясь, куда бы сесть. Однако сесть не предлагали.

– Только не надо, – возразила Зинаида. – Что значит – не практикую? Что, справку не можешь выписать? У тебя даже степень есть, не хухры-мухры...

– Мы так рады, так ждали вас, – подала голос старушка-толстушка и почему-то стала поправлять что-то у себя под юбкой.

– Ты маму мою помнишь? – не закрывала рот Зинаида. – Ага... Вот и прекрасно. У нас даже бланки с печатями есть, все готово...

И с этими словами, как по команде, три дамы зашебуршили у себя под юбками, оттягивая тугие резинки, опуская ниже колен цветастое многообразие своего интимнейшего туалета и обнажая, тем самым, сокрытое до поры до времени от посторонних взоров.

Если до этого мало что понимал в происходящем Иван Сергеевич, то теперь перестал понимать вовсе. Бледен был русский интеллигент и весьма напоминал статую.

– Ну, долго стоять так, ведь дует, – не выдержала хозяйка, придерживая юбку руками.

– Действительно, дует откуда-то, – поддержала Татьяна и, неловко переставляя ноги (не больно походишь в такой позиции), приблизилась к Ивану Сергеевичу. – Давайте. Начните с меня.

– Как? – не понял наследник и сплотнул.

– Что как? – удивилась Татьяна.

– Может, лечь на диван? – засуетилась старушка-толстушка. – По очереди...

– Да, правда, наверно так неудобно, – согласилась Татьяна, – давайте я лягу, а вы начнете... – Она проковыляла к дивану.

Иван Сергеевич стоял, как стоял – каменно, не шелохнувшись.

– Ты что, стесняешься? – вульгарно хмыкнула Зинаида.

– Мы можем и заплатить, если в этом дело, – предложила старушка-толстушка.

– Я что-то не понимаю. У меня что-то с лицом. Вы меня за другого кого-то, наверно... Вы извините, – выдохнул на едином дыхании Иван Сергеевич и торопливо направился к дверям одеваться.

– Куда? – взвизгнула Зинаида, мигом вернула колготки на положенное им место и устремилась следом за беглецом.

– Ты что дурака валяешь? – вцепилась она в пальто наследника, не давая ему одеться. – Не понимаешь, что ли? Это же смертный грех. Погубить всех нас хочешь? В геенну огненную отправить?

Она разрыдалась вдруг, визгливо, ненатурально, короче, видно было, что не больно ей хочется плакать, а так – давит на психику интеллигенту, воздействует.

– А я ждала, надеялась, старый друг, думала, – прорывалось сквозь всхлипы.

– Что – надеялась? Что, я не понимаю. Какой грех? Ты о чем говоришь? – пытался понять Иван Сергеевич. – Ты объясни толком...

– Как? – тут же утихла хозяйка. – Ты что, не знаешь? Аборты – это смертный грех, так все говорят. Нужна справка, осмотр... Что не было. Иначе – конец... Все. Ничего не поможет.

Она заскулила снова.

– Ах, вот что... – Иван Сергеевич опустился на подставку для обуви. – Так я же не гинеколог, я психиатр...

– Какое это имеет значение? Ты врач, – Зинаида вдруг перешла на шепот, поглядывая зачем-то на потолок, будто кто-то ее мог услышать оттуда. – Тебе

никакого греха нет, ну, чуть-чуть только, маленький, если, скажем, ты ошибешься, а это с кем не бывает. Тебя все поймут, оправдают. У тебя и заслуги есть – детки-сироты, интернатские. С тобой все в порядке. Пристроился вовремя. Умный ты, я всегда говорила... А у женщин – проблема, понимать должен.

– Можно мне чаю? Пожалуйста, – прервал Иван Сергеевич скороговорку хозяйки.

– Чаю ему, – непререкаемым тоном приказала она, облегченно вздохнув.

– Он чай просит, – передала, как по цепочке, Татьяна.

– Ага, сейчас, – засуетилась Клавдия Семеновна и появилась в прихожей, держа чайник в вытянутой руке.

– Вы только сами поставьте, на кухне, – попросила она Ивана Сергеевича. – У нас там конфликт, с кооперативом этим... Лучше не появляться.

– С кооперативом? – удивленно поднял глаза наследник, ибо никак не связывалось в его воображении увиденное в коридоре с представлением о свободной коммерческой деятельности.

– Ты только не подумай, что мы против них, – уточнила Зинаида Федоровна. – Мы просто другие. Мы – Тибет, мы секта, а они – Византия... Это так исторически все сложилось...

На этих словах вышел Иван Сергеевич уже в коридор и потому так и не узнал, в чем историческое отличие православия от загадочной секты.

Плотно стояли люди в темноте коридора – яблоку негде упасть, да и откуда ему взяться-то, фрукту этому диковинному, забыли, поди, как выглядит. Анахронизм, одним словом. Как пишут в словаре в таких случаях – устарев. и не употреб. Как бы то ни было, а проталкивался Иван Сергеевич со своим чайником с большим трудом, с превеликим. Ко всему прочему – еще и свечи горящие в руках, того и гляди, пиджак прожгут, если не хуже. Так ли, эдак, где напором, где вежливо, а достиг русский интеллигент наконец заветного поворота, что от сортира на кухню. Но тут как раз зажурчало в кабинке, заскрипело, гулко стукнул стульчак, и дверь отворилась, выпуская молодцеватого вида старичка. А старичок этот, вместо того чтоб радоваться благополучному посещению кабинки, вдруг встал посреди узкого поворота, загораживая, да еще и руки раздвинул, в стены упер, дескать, прохода нет – ждите. Иван Сергеевич попробовал отодвинуть его руку, вежливо так, интеллигентно. Куда там. Ноль внимания.

– Разрешите все-таки, – повторил попытку наследник. Старичок прямо набросился на него, иначе не скажешь.

– Ну, куда? Куда лезете? – шипел он, распыляя слюну. – Не видите? Полно там. Негде ступить.

– Он не стоял тут вообще, – вмешалась дамочка, почему-то разительно напоминающая кассиршу из парикмахерской. – Вы за кем стоите, молодой человек? Я вас спрашиваю...

– Я не стою. Мне на кухню. Чайник поставить...

Иван Сергеевич демонстративно поднял над головами сосуд с облупившейся эмалью.

– Он не из очереди, – подтвердил кто-то.

Старик наконец поднял руку, ровно как-то, как шлагбаум, может, не сгибалась она – однако вышло торжественно, со значением, прямо, можно сказать, в рай пропустили.

...И вошел Иван Сергеевич на кухню, и возжег газ, и поставил чайник, и оглянулся. И тут увидел...

Здесь самое время сделать небольшое отступление касательно русского интеллигента, дабы не быть неверно понятым, упаси боже. А все дело в том, что был Иван Сергеевич отнюдь не еретик какой-то, а совсем наоборот – человек верующий, крещеный, правда, уже в зрелом возрасте, по православному обряду. И в церковь, надо сказать, не в пример многим, ходил он регулярно, не только по праздникам.

Поэтому, вероятно, столь ошеломило его кухонное действо в коммунальной квартире номер 13, и ни в какие рамки здравого смысла это никак не укладывалось и ничем иным, кроме как кощунством и профанацией, названо быть не могло.

А было следующее: три дамы весьма светского вида, в шляпках, причем одну из них Иван Сергеевич тут же узнал, так как была она директором «стола заказов», тоже, кстати, кооперативного, так вот — три эти дамы, мерцая кольцами, зачитывали по тетрадкам богослужебные тексты, соответствующие обряду крещения. Две старушки за их спинами воплощали собой хор. Пели, как бог на душу положит, а положил он им не иметь никаких талантов, особенно музыкальных. Все это происходило возле большой ржавой ванны, встроенной в стену без всякой загородки, как это часто бывает на коммунальных кухнях. Горела колонка — саратовский завод «Газоаппарат», шипело синее пламя, а в ванной стояла голая гражданка, весьма упитанная — куда там Кустодиеву, и мылась под душем, умильно так мурлыкая себе под нос, подпевая старушкам из хора. А к ванне этой, значит, очередь голых граждан стоит, кто уже подготовился, ждет, срамоту руками прикрывает, кто еще только снимает брэнное одеяние, шушукается с бородатым амбалом, сидящим за столиком, над которым висит большая, на железе выполненная табличка-название: «Кооператив “Крещение”». Чтоб ни у кого сомнений не было, надо думать.

— Это же кощунство, профанация! Да они что, с ума сошли? — пробормотал Иван Сергеевич, обращаясь к стоящей у плиты рядом с ним женщине. Она резала лук на дощечке — суп заправляла.

— Цэ я нэ знаю. Я з Украины, у нас своя церква, — ответила она, шмыгнув носом. — Нехай собі...

— А в чем дело? Что вам не нравится? — возник вдруг кто-то, сидящий за кухонным столиком. — Не нравится — уходите...

— В церковь же не попасть. Очередь. Записываются на полгода вперед, — ввязался в спор еще кто-то. — А тут быстро, очередь небольшая, кооператив хороший.

— Да тихо вы, — зашикали на них со всех сторон.

Может быть, плюнул бы Иван Сергеевич на все это безобразие, не стал бы связываться и пошел бы себе чай гонять, как и положено русскому интеллигенту от века. Но тут привлекла его внимание до странности знакомая мужская фигура на кривых ногах, стоящая в очереди первой. Человек этот одной рукой прикрывал то, что принято не показывать, тут все было правильно, а вот другой... Другой рукой он держал шляпу и прикрывал ею лицо, вроде и мыться так собирался, в шляпе. Ивана Сергеевича как током ударило — да ведь гэбэшник это, что вертолет не дал! С обезьяньей рожей который, с клыками вампирскими, сука в ботах, ети-мети.

А тут из ванной, приняв полотенце, вылезла, наконец, омывшая свои грехи дама и шустренько так начала обтираться, по-деловому, чтоб не задерживать очередь. Иван Сергеевич глазам своим не поверил — раскачиваясь необъятной грудью и вздрагивая столь же внушительным задом, перед ним стояла Алевтина Ивановна Маздухина, местный лидер правящей партии воинствующего атеизма.

Иван Сергеевич аж задохнулся от негодования. Ни с того ни с сего вдруг стал он чайник с огня снимать, обжегся, ойкнул, но чайник не выпустил из рук, только лицом дернулся и дышать стал сильнее, пожирая глазами ненавистные телеса. Его заметили — нельзя было не заметить, другое дело, может, не так поняли.

— Вот встреча! Иван Сергеевич, — умилилась фальшиво Маздухина, натягивая трусы и пружиня ногами, чтоб лучше сели. — Ну, надо же, как бывает...

— Ага, бывает, — угрожающе поддакнул русский интеллигент. — Еще не то бывает... Детки тонут, например, а нет катера... Бывает, ага...

Иван Сергеевич, скривившись от боли, торопливо переменял руку — жег чертов чайник нестерпимо.

— А вы, я смотрю, чаек готовите? — пыталась все еще примириться Алевтина Ивановна, поглядывая пугливо на пышущий паром сосуд в руках наследника. — Ну, Бог в помощь, Бог в помощь... Хорошее дело... Русское... Предки наши с вами всегда чайком баловались...

Но тут задушевное воркование вдруг прервалось на полуслове, потому как Иван Сергеевич, желая снова переменить руку, не рассчитал, брызнул себе кипятком на пальцы и с криком – «а, мать вашу» – швырнул чайник на пол, себе под ноги, обрызгав вокруг всех стоящих.

– Да вы что, идиот! – завопила не своим голосом новообращенная. – Скотина какая, обжег меня! Видите?! Сука...

– Хулиган! Безобразие! Безбожник, специально пришел! – надвигались на Ивана Сергеевича со всех сторон распаленные лица, но схватить боялись – уж больно разъярен был наследник. Потому сам собой образовался проход и пропустил беспрепятственно припадочного в его логово.

Бритоголовый юноша готовил какое-то зелье загадочное – переливал, смешивал в колбочке жидкости, разливал в небольшие рюмки. В полутьме светились огоньками тлеющие благоуханием травы. Ворожил, одним словом, но при этом поглядывал с интересом в другой угол комнаты, где хозяйка утешала разволновавшегося гостя, а тот никак не хотел успокоиться после кухонного скандала, ерзал на диванчике, где ему постелили.

– Ну, невозможно же, – стонал наследник, – и так все опошили, изгадили, ну, так религию хоть не трогайте, не превращайте... в черт знает что, в ширпотреб... В товар народного потребления...

– Вот плед, если холодно будет, – перебила его Зинаида. – Ты спи, засыпай быстрее, а мы... разбудим тебя, потом, – добавила она шепотом.

– Зачем? – удивился Иван Сергеевич.

– Увидишь, – многозначительно заметила Зинаида и вышла из комнаты.

Иван Сергеевич глянул вокруг, ничего особенного вроде бы не заметил, а потому натянул одеяло к носу, обнажив худые ступни в рваных носках, и закрыл глаза – спать очень хотелось. Издалека донеслись тихие шаги, звяканье дверцы буфета в другой комнате, голоса.

– Если кто будет звонить, меня нет. Я ушла в астрал. И не открывай никому, я заклинаю тебя, – донесся голос хозяйки.

– Зина, я прошу тебя, осторожно. Я так волнуюсь всегда, – говорила Клавдия Семеновна.

– Ну, мама, не знаю просто... В первый раз, что ли? Что ты боишься?

– Я просто волнуюсь, – начала всхлипывать Клавдия Семеновна. – Лежишь, как мертвая, я не могу смотреть...

– А ты не смотри, не заходи в комнату. Сколько раз тебе говорила...

– Вы, пожалуйста, не заходите, когда мы в астрале, – поддержала подругу Татьяна. – Действительно, это опасно. Вы спать ложитесь... Ну вот... ну вот...

На этом «ну вот» Иван Сергеевич перестал прислушиваться к голосам, сон сморил его, и, уже отлетая усталой душой в роши морфея, он успел подумать – в астрал, так в астрал, хоть к черту на кулички, лишь бы отсюда подальше... Совсем далеко...

II. Анданте

Его разбудили – как обещали, только как это произошло – он не заметил, да и который час ночи был, когда разбудили, не понял. Горела свеча перед ним на столе, он держал над ней пальцы, почти в огне, и боли не чувствовал. Рюмка с зельем стояла рядом, он допил ее. И тоже ничего не почувствовал – ни вкуса, ни запаха. Бритоголовые юноши тексты читали на санскрите, он не чувствовал звука, но понимал почему-то слова и их значение, хотя санскрита не знал.

– Ахо бата махат-папам, картум вьявасита ваям, яд раджья-сукха-лобхена... – звучало в его сознании и он понимал, что это означает следующее: – Увы, как странно, что мы готовимся совершить великий грех; движимые желанием насладиться радостями царствования...

Затем он увидел все это еще раз, но уже сверху, словно на потолке сидел и смотрел оттуда, и так странно было видеть себя самого внизу, видеть так, как никогда мы себя не видим, что Иван Сергеевич рассмеялся, но смеха своего опять же не услышал, а услышал другие слова, вернее, всего два слова, произнесенные его голосом: – Акама... Мукта...

Ах, какая лучающаяся степь открылась перед ним. Абсолютно желтая, без единого оттенка, словно из золота, трава колыхалась под ветром и была ослепительно ярка, будто освещенная солнцем. Но солнца нигде не было – черное небо без единой звезды простиралось от горизонта до горизонта. Иван Сергеевич шел по этой траве все дальше и дальше, но ничего не менялось – ни строения вокруг, ни деревца. Пустота. Однако какое-то неясное чувство подсказывало ему – надо идти, нельзя останавливаться, нельзя... Но так уж устроен человек: остановился Иван Сергеевич да еще и назад посмотрел, что вообще ни в какие ворота, как говорится. А все – лишь бы вопреки чувству этому тайному, лишь бы по своей дурной воле и разумению. Ну и дождался, конечно. Тут же стало темнеть, причем быстро, не по-земному, как в кинотеатре, перед началом сеанса. Ветер поднялся, все нарастал и нарастал, смерчи черные пылевые двинулись на Ивана Сергеевича, уже с трудом стоящего на ногах. Наконец все погасло. Тьма. И будто камни летят откуда-то, словно сель идет. Вот такое кино... Трухнул, надо думать, русский интеллигент. Тут сразу, уразумел он, что не так – по мордам. Уразумел, значит, наследник и поприших, поубавил пытливость ума хваленую, припрятал ненасытность познания окружающей действительности. Короче, стал в мгновение ока таким, каким и должно быть Человеку по отношению к миру и природе – вежливым, очень вежливым и долго размышляющим, прежде чем что-либо хапнуть руками или, упаси боже, начать перестраивать, самодеятельность проявлять. Да, а ведь не худший из индивидов Иван Сергеевич наш, а и тот – схлопотал за милую душу, без разговоров. Что тогда говорить о других? Подумай, читатель, подумай. Время еще есть, авось, позовут не скоро. Куда – сам знаешь...

А тем временем полз Иван Сергеевич по земле, чувствуя, как над ним проносятся ураганные вихри, но земля стала мягкой, как грязь, и руки все глубже уходили в черное месиво. Не болото ли, успел подумать скиталец и провалился в какую-то яму, затем дальше, по склону холма, заскользил вниз и, пролетев порядочно, шлепнулся в лужу. На дно оврага, надо думать, или карьера заброшенного.

Тихо было вокруг, могильной сыростью пахла земля. Доносился чуть слышный шелестящий гул – то ли прибой океанский был поблизости, то ли листья шумели. Иван Сергеевич приподнялся, прислушался и, не раздумывая долго, побежал, шлепая по грязи, навстречу этому столь земному звучанию.

– Сидела принцесса в тиши у окна. В долине пастух на свирели играл. «Молчи, пастушок, ты мечту мне связал! – Блуждать так привольно любила она в предзакатный час, в предзакатный час».

Так пели дети, пели старательно, с чувством, надо думать, нравился им этот романс Грига до чрезвычайности. И одеты они были соответственно романсу – то ли начало нынешнего века, то ли конец прошлого. Ну да не в том дело, красиво были одеты и со вкусом. Полутьма вокруг, на рояле свечи, чтоб ноты видеть. А за роялем дама строгого вида – ни молода, ни стара, гувернантка, может быть, а может, кузина бездетная, что в приживалках живет, с детьми занимается музыкой, пока маменька почивать изволят.

– И стала принцесса рыдать, тосковать: «Как сердце болит! Я одна, я одна! И закат погас, и закат погас...» – допели дети последние строчки романса, и у всех, разумеется, выступили слезы на глазах, а у Мишеля даже потекли по щекам. Так жалко принцессу, слов нет...

– Что ж, недурно. Па маль... – сказала строгая дама и высморкалась в платочек. – Что будем петь? Может, «Последняя весна»?

- «Время роз»! – предложил первым Мишель. – Же ву при...
- «Изгнанник»! «Изгнанник»! – настаивали девочки.
- Ну, хорошо. Давайте споем «Изгнанник», а затем «Время роз»...

Строгая дама раскрыла ноты, близоручко сощурилась, примеряясь к вступительному аккорду, но вместо того чтобы начать, вдруг встала и начала прислушиваться.

– В дверь стучат? Или это ветер... Же не пе па компран...

Дети молчали, испуганно вглядывались в темноту.

Тихо ступая, строгая дама вышла из детской. В малой гостиной, как ей показалось, никого не было, и она пошла дальше, в большую гостиную, окликая по дороге:

– Ки э ла? Петруша? Се туа ки а фроппе?

А между тем, если бы близоручность не подвела строгую даму, она могла бы заметить нескладную фигуру русского интеллигента в глубине гостиной. Иван Сергеевич стоял в тени, чуть различимый, и смотрел вокруг. Дверь веранды была раскрыта настежь, занавеси раскачивались, и видны были волны. Большие черные волны подкатывались прямо к порогу. Они были чрезвычайно велики, просто огромные, и двигались чуть замедленно, не по-земному. Желтый жаркий свет покрывал все пространство грозной стихии и переходил на горизонте в черное небо. Золотистая желтизна проникала через раскрытые окна и сюда, в гостиную, но не грела – влажной сыростью тянуло от пола. Можжевельник рос тут и там, и Иван Сергеевич заметил, что пол земляной, проросший папоротниками и всякой травой, но более всего можжевельником. И потому, наверно, запах сладкий, елочный, подумалось наследнику, но тут снова послышались мягкие шаги и затем сразу же испуганный возглас, обращенный явно к нему:

– Ки эт ву? Кес ке ву фэт иси?.. Что вам угодно?!

– Я, видите ли, – запинаясь от волнения, начал Иван Сергеевич, – мне трудно объяснить...

– Павел Евграфович! Мария Федоровна! Здесь какой-то мужик! Иль а эн эр афре!
– не слушая объяснений, еще громче закричала мадам.

Но кричать уже не было надобности. Захлопали двери с разных сторон (их оказалось гораздо больше, чем поначалу показалось в полутьме прищельцу), и стали появляться разные люди, мужчины и женщины, обступая Ивана Сергеевича и разглядывая. Наиболее грозен был статный мужчина с бородкой и в пенсне, по виду – директор гимназии, надо думать, он-то и был Павлом Евграфовичем.

– Извольте объясниться, милостивый государь, – гневался не на шутку Павел Евграфович. – Ву дезире? Пуркуа тезе ву?

– Я, извините, так вышло...

– Что-с? Же не компран па.

– Я, извините, не понимаю по-иностранному. Только по-русски, – наконец, достаточно громко произнес русский интеллигент. – Прошу прощения...

– Гм... Ну-с, однако... – задумчиво произнес директор гимназии. – Экий ты, братец, простак... Да-с... Невежа, стало быть...

– Уведите детей, Александра. Иль но рьян а фэр иси, – негромко распорядилась Мария Федоровна, оглядывая измазанную глиной фигуру гостя.

Строгая дама тут же направилась к дверям детской.

– Алон вит! Кель оер! – приговаривала она, заталкивая детей в комнату и плотно закрывая за собой дверь.

– Кто это? Ки э сет ом? – тут же окружили дети Александру с расспросами.

– Не знаю. Какой-то мужик, морда разбойничья. Иль э табис дюн фасон нафрез...

– А может быть, он изгнанник? Се тюн виктим дамур? – предположил Мишель. – Жертва несчастной любви?

– Не думаю. Впрочем, – задумалась на секунду мадам, но сразу же перешла на решительный тон. – Оставим это. Кто будет играть в золотые шары?

— Я! Я! Все будем играть! — запрыгали радостно дети, захлопали в ладоши и бегом, распахнув дверь, помчались по желтой траве наперегонки.

Александра тем временем вернулась к дверям, ведущим в гостиную, прислушалась и, не в силах побороть любопытство, приоткрыла дверь так, чтоб видно было.

За время ее отсутствия тут многое изменилось. Вероятно, пришелец объяснился, наконец, толком и потому было предложено ему сесть. Однако сидел он на стуле неловко до смешного, на краешке, чтоб не испачкать замызганным сюртуком своим бархат обивки, и руки не знал куда деть. Все остальные сидели по обе стороны от него, полукругом, и молча разглядывали. И только Павел Евграфович вышагивал туда-сюда, руки за спину, бросая неизменное свое: нда-с... Однако... Александре даже жалко вдруг стало приبلудного — а ну как и вправду изгнанник или жертва несчастной любви?

Иван Сергеевич же, надо признаться, сидел ни жив ни мертв, чувствуя, что совершил какую-то ужасающую бестактность, но почему-то никак не мог собраться с мыслью, сосредоточиться, дабы понять — в чем она, и, поняв, извиниться или объяснить что-либо в свое оправдание. Вместо этого он продолжал, как в дурном сне, совершать одну оплошность за другой. Он и молчал некстати, хотя видел, что все ждут его объяснений, он и глаза не подымал, уставился, как привороженный, на туфли Марии Федоровны, так что ей пришлось переменить ногу, убрать туфли в тень. Однако и туфли же были особые, необычные, в чем и была оплошность гостя. Они были жесткие, черные, с нехоженными подошвами, «босовики», как называли их век назад, и обряжали в них, как известно, отправляя на тот свет.

Но тут неловкое до неприличия молчание было прервано появлением старика генерала в коляске.

— Кес ки се пасс? Это что за фрукт? — громко удивился он, появляясь в гостиной.

— Вот, кстати, ваше сиятельство, — оживился Павел Евграфович. — Рекомендую!

Он сделал широкий жест в сторону гостя.

— Иван Сергеевич Мазарин, наш с вами потомок. Наследник, можно сказать. Из рода Евлаховых. Да-с... Полюбуйтесь...

— Что он говорит? — генерал нетерпеливо повернулся к служанке, стоящей за спинкой коляски, и достал слуховую трубку.

— Потомок, из рода Евлаховых, ваше сиятельство, — преувеличенно громко произнесла она. — Мазарин фамилия...

Старик подъехал поближе к гостю и стал оглядывать его, сокрушенно кивая.

— Ай-яй-яй, — качал головой генерал, — какой конфуз! Что ж это ты, братец, так опустился-то? Пожалел бы ты нашу фамилию. Прабабка твоя, покойница, личная дворянка была, благородная, с образованием, а ты, я гляжу, мужик, хам? Конфуз, братец, конфуз...

— И невежа, осмелюсь доложить, — поддакнул Павел Евграфович и, почувствовав всеобщую поддержку, начал распекать новоприбывшего: — Да-с... Стыдно, брат! Этак дворянам не надлежит поступать. Кто ж так визиты делает? Не спросясь, без благословения. Как тать! Нешто так хорошо? Увольте... Да, и грех-то какой... Не по-христиански, братец, не по вере отцов... Да-с... И что это за вера такая тибетская, осмелюсь спросить? Отродясь в отечестве никто слыхом не слыхивал о таком, чтоб в гости к отцам-покойникам приходиться, визиты делать...

— О чем говорить, Павлуша, — вздохнул генерал. — Да он, чай, фамилии путем подписать не умеет. А ведь фамилия у тебя, братец, знатная, столбовая. Чего молчишь-то? Оболтус...

— Я грамотный... ваше сиятельство, — тихо промямлил, глядя в пол, Иван Сергеевич. — Довольно сложно мне объяснить... Видите ли...

— Что он говорит? — переспросил старик, недослушав.

— Говорит, что обучен грамоте, ваше сиятельство, — произнесла над ухом служанка.

— А коли обучен, стало быть, ты нигилист, братец! Нигилист и мазурик. Тьфу! В басурманскую веру подался, срам-то какой...

Старик гневно заворочался, замахал рукой, дескать, вези назад, не хочу его видеть. Вслед за стариком поднялись и все остальные, проследовав мимо Ивана Сергеевича в большую гостиную, оставив его одного.

Александра продолжала стоять в дверях детской. Она видела, как пришелец тяжело поднялся, каким страданием исказилось его лицо, когда ненароком, повернув голову, он встретился с ее взглядом, глаза в глаза. Сострадание к несчастному сжимало ей сердце, да и не таким уж разбойничьим показалось ей теперь его лицо, скорее значительным, со следами наследственного благородства, но искаженного печатью гибельных страстей и роковых неудач.

— Месье... же ву при, — прошептала она, холодея от собственной смелости. — Подите сюда, прошу вас.

Он шагнул к ней, удивленно, неуверенно, но она звала его знаками и при этом прикладывала палец к губам.

— Не убивайтесь так, мон пети, — зашептала она страстно. — Я все поняла, мой друг!.. Я догадалась!

— Я, знаете... — начал он, но Александра прервала его:

— Молчите! Ни слова! Я все знаю. Вы честный, благородный человек. Вы страдалец! Судьба разбила вам сердце. Она умерла. И вы лишились рассудка от горя. Вы взяли на душу страшный грех ради любви. Как Орфей за своей Эвридикой... В царство Аида... О, я понимаю вас, поверьте... Я знаю, что значит лишиться любимого...

— Александра, голубушка, идемте чай пить, — послышалось из гостиной. Она схватила его за руку и потянула в комнату.

— Быстрее! Сюда идут! Нас могут услышать... Ну, что же вы...

Иван Сергеевич шагнул в детскую, и она тут же плотно закрыла за ним дверь, прижавшись к ней спиной. Они оказались совсем близко друг к другу, лицо к лицу. Что-то поразило пришельца, и он уже было открыл рот, но она стремительно приложила палец к губам.

— Александра, где же ты? Александра... — донесся поблизости голос Марии Федоровны, затем стал удаляться.

— Что вы так смотрите на меня? — чуть слышно прошептала Александра, смущаясь.

— Лицо!.. Боже, какое лицо... — страстно выдохнул наследник.

И, о, чудо, слезы восторга выступили у него на глазах. Ну просто гимназист восторженный, вот-те нате! А надо сказать — было от чего прийти в смятение неопытной душе русского интеллигента. Потому как строгая дама вблизи оказалась совсем не строгой, вернее, совсем не такой, какой представлялась она издали, в неверном освещении рояльных свечей. То ли полутьма сыграла злую шутку, то ли и вправду лицо ее изменилось в мгновение ока, но только перед Иваном Сергеевичем стояла, и так близко, что дух захватывало, удивительная красавица. Прекрасная той редкой красотой, которую испокон веков называли одухотворенной и которую с таким маниакальным постоянством воспевала отечественная культура. Другими словами, литературные семена ожидания этой встречи были посеяны в душе наследника еще со школьной скамьи, обрекая несчастного на мучительный разлад с действительностью по понятным причинам, впрочем, как и бесчисленные поколения российских гимназистов и школяров.

О, кто сочтет вас, бесконечные, как песок морской, жертвы русской литературы? Вас, обманутых ее идеалами, которые столь редки в жизни? Вас, поверивших в ее упования, которым, если и суждено было стать явью, то только превратившись в свою противоположность. Увы, увы, увы...

Итак, стоял Иван Сергеевич с полуоткрытым ртом от нахлынувших на него чувств, а между тем в детской стремительно и грозно темнело, ветер сквозь раскрытые окна ворвался в комнату и беспощадно трепал прекрасные локоны Александры. Ее губы шептали что-то, но что? Грохот начавшейся бури заглушал слова, но постепенно до Ивана Сергеевича дошел их смысл:

— Дети! Какой ужас! Их надо спасать. Пустите же меня, мой друг. Там дети... Боже! Гроза идет...

Темно стало в комнате, и он уже не видел ее лица, только чувствовал, как ускользает рука, дальше, дальше...

Вернулся Иван Сергеевич в свое тело резко, толчком, будто с высоты упал. Открыл глаза, сел и начал тереть лицо, как делал обычно после долгого сна. Наконец, реальность мира полностью вступила в свои права. Иван Сергеевич посмотрел на темное окно, отражающее багровые зарницы, и произнес тихо, но решительно: «Дети!»

III. Скерцо

Оркестр стоял прямо в грязи бездорожья, рядом с размытой колеей. Багровое небо грозно светилось огнем, отсвечивая в лужах, мерцая на медных раструбах инструментов. Народ толпился возле оркестра, заглядывал в ларьки, стоящие рядком вдоль колеи. Все ждали чего-то, не расходились. В ларьках, надо сказать, на видном месте были выставлены маски, в основном Президента и его Помощника. Народ вежливо трогал пальцами тесемки, идущие от картонных ушей, однако саму маску не покупал – вероятно, дорого было. Хотя и была конкуренция – все ларьки торговали одним и тем же – масками.

Наконец, гулко застучал барабан, задрезжали тарелки, и оркестр взыграл краковяк. Эх! Музыка народная, всеми любимая, без слов. Потому как надоели слова – нужно дело делать. И тут, разбрызгивая грязь, подкатил к толпе черный ЗИЛ, раскрылись дверцы, все одновременно, и в такт с музыкой, словно срепетировано было, легко, залихватски, пританцовывая с прихлопами и присвистом, появился Президент собственной персоной, сперва один, потом следом за ним другой, ничем не отличимый от первого, правда, оба были в масках, отчего нельзя было сказать – сам ли он это или имеет место розыгрыш неформальных остряков. И вообще почему факт апокалиптического раздвоения первого лица в государстве никак не отражен законодательно и в средствах массовой информации? Короче, нет ли тут влияния Кашпировского? Так же большие сомнения вызывал Помощник в одноименной маске, тем более что их (Помощников) было трое, и все, понятное дело, на одно лицо. Но чего не бывает в любезном отечестве. Народ на всякий случай зааплодировал. Что называется – привычка свыше нам дана. И правильно. Из черных «Волг», прикативших следом, высыпали единообразные, как тараканы, мужички, все в одинаковых плащах и шляпах, косая сажень в плечах. Уж эти-то сомнения не вызывали, примелькались за годы народовластия. Как поется в народной частушке: «Как у башни, как у Спасской – фраера из безопасности». Ну так вот, эти самые «фраера» и были тут как тут, тем самым как бы невольно подтверждалось правдоподобие явления народу первых лиц. Хотя надо отметить, что смущало некоторых наличие баянов на груди у Президентов, непривычны были и балалайки в руках у Помощников, у всех троих, но народ пообвыкся вскоре. Новое – оно удивляет попервости что с одной стороны, что с другой, пока не войдет в привычку.

– Ну, что ж, можно начать, я думаю, – обратились Президенты к народу. – Спойте, товарищи!? А я буду дирижировать.

– А вы с Помощниками... вместе выступать будете? – спросила демократично эмансипированная гражданка.

– А то мы хотим вас послушать, – поддержали другие, – как вы поете... Нам ваши куплеты сильно нравятся, про рынок... Хотели слова списать...

– Так я с Помощниками вместе и спою. Мы всегда вместе поем.

– Конечно, – ответили дружно все трое.

И ударили в струны, а Президенты распахнули гармони, как заиграли, да так лихо, виртуозно, с переборами – ну, просто клавишей стаю накормили. С руки.

И весело так, пританцовывая, как на свадьбе, с музыкой двинулись все куда-то в глубь чернеющего бездорожьем поля:

– Будет рынок, будут танцы, будут изменения. Скоро лучше заживем – есть такое мнение!

Но всегда найдется какой-то носатый, который праздник испортит.

– Да это же не Президент, он в маске, глянь-те. Маска на ем! – воскликнул носатый, удивленно оглядывая соотечественников. – Маску нацепил и разыгрывает. Хулиганство... гляньте..

– Что гляньте, гляньте?! Вы что себе позволяете, гражданин? – налетели со всех сторон на носатого «фраера».

– Так ведь маска, в маске он... – оправдывался умник, заметно снизив тон, – я за авторитет волнуюсь...

– Маска действительно есть, – авторитетно заявил, так чтоб все слышали, главный фраер, – но это для того, чтобы лицо не портить. Погода же, – он махнул рукой в сторону неба, – осадки, дожди кислотные, радиация... Так оно ж лицо портит. А маска предохраняет... Знать надо! – сурово заключил он и двинулся вместе со всеми по колее догонять праздник. Носатый тоже стронулся было туда же, куда и все, но его молча развернули в другую сторону. Иди, дескать, себе подобру-поздорову, на историческую родину. Пешком.

Ровно стояла вода, как бывает на мелководе, но зато широко разлилась, края не видно. По-богатырски. А посреди воды, как остров, домики-палатки из фанеры, из ящиков старых, из кусков железа. Такая вот инициатива масс. Из проемов-дверей лица выглядывают, многие уже улыбаются, прихлопывают ладонями в такт музыки, поджидают.

Президенты остановились у первого домика. Умолк баян. Стояли, скорбно кивая головой, руками показывали, обращаясь к Помощникам, дескать, вот такие дела...

Те кивали в ответ сочувственно. А вокруг, шлепая по воде, народ толпился, фраера, телевизионщики откуда-то появившиеся, корреспонденты иностранные.

– Вот, господа Президенты, видите? Вода везде, – наконец произнес хозяин конуры, почему-то по бумажке. – До чего довели...

Ну, фраера! Когда успели дать человеку вопрос – никто на заметил. Мастерски работают! Невидимо!

– Да... – задумались Президенты и тоже заглянули в бумажку. – А вот интересно, товарищ Сердюк, вы домик... сами строили? Без всяких указок сверху? Самостоятельно... решение приняли?

– Самостоятельно, господа Президенты, – обрадовался хозяин и тут же, мельком взглянув в шпаргалку, задушевно добавил: – Я вас только что... попросить хотел. От имени всех... Тут все очень хотят...

– Просите, – разрешили Президенты и через плечо: – Тише, товарищи!..

– Спойте нам что-нибудь! Мы сильно любим, как вы поете! Всегда радио включаем, – выдохнул, не сдержав чувств, хозяин конуры.

– Пожалуйста, – подхватили стоящие рядом. – Очень просим. Порадуйте... Спойте нам...

– Прямо не знаю, – задумался Президент, стоящий слева, перебирая в размышлении клавиши, – чтобы такое спеть... Подходящее... Соответствующее моменту...

– Вода, вода – кругом вода, – напел услужливо один из Помощников, чуть подыгрывая себе на балалайке. – Там начало такое, интересное: мы провожаем пароходы, совсем не так, как поезда...

– Ну, это что же за песня будет? Про отъезжающих, что ли? – пошутили Президенты и подмигнули народу, дескать, во Помощник дурак, ничего не понимает. Политический подтекст не чувствует.

Народ встретил шутку Президентов долго не умолкавшим смехом, а хозяин конуры, так тот – просто до слез, так смеялся.

Президенты, выждав положенное время, подняли руки. Сразу все смолкли, опять же словно срепетировали.

– А вот эту песню, как там, не помните? – раздумывал Президент, стоящий справа, подыскивая верный аккорд:

*Море встает за волной волна,
Как за спиной спина...*

Помощники сразу подхватили припев и двинулись, напевая, следом за Президентами вдоль домиков:

*Друг всегда уступить готов,
Место в шлюпке и круг.*

— А вот эту помните? — вдруг сменил музыку солист.

*Небо, небо, небо, не-бо.
Тучами укрой родную землю...*

В толпе начали подпевать, однако баян неожиданно снова переменял песню:

*Тот, кто рожден был у моря,
Тот полюбил навсегда...*

— Или вот эту, чтоб товарищи военные не обижались, — улыбнулся один из Президентов: «Севастопольский вальс помнят все моряки...»

Тут непонятным образом оказался на пути Президента построенный духовой оркестр, который сразу же подхватил столь популярную когда-то мелодию, а некоторые из жителей хибар начали танцевать парами, женщина с женщиной, мужчина с женщиной.

Именно в эту минуту, в суматохе и неразберихе наконец-то решился подойти к Президенту русский интеллигент и попросить катер, тем более что это вроде бы и по теме разговора, получалось — вода кругом, морские напевы, место в шлюпке, круг и многое другое, о чем уже говорилось выше.

— Извините, пожалуйста! Прошу прощения, что прерываю... — воззвал наследник, вынырнув из толпы на пути Президента. — Там дети гибнут! У нас все затопило. Катер нужен! Я третий день в городе, не могу получить транспорт. Не дадут, а вода прибывает... Помогите! Я...

— Вот! — широко показал на наследника Президент левый, прервав музыку. — Правильно говорит товарищ...

— Мазарин, — подсказал один из фраеров. — Вчера в приемную приходил. Скандалил...

— Вы меня знаете? — тихо выдохнул интеллигент изумленно.

— Тише, пожалуйста. Тсш... — насутился фраер и приложил палец к губам, зыркнув на бестолкового наследника.

— Да, — продолжал Президент правый, — товарищ Мазарин... А все почему? Это вопрос политический. Нужны особые полномочия... по катерам. Вы согласны со мной?

Президенты повернулись к Ивану Сергеевичу в ожидании ответа.

— Конечно... Наверно, то есть, — промямлил наследник. — Катер нужен.

— Правильно говорите! Мы с вами, товарищ Мазарин. Мы с вами заодно, — заключили Президенты и тут же двинулись дальше, не один же у них Мазарин в отечестве. Следом за ними захлопали по воде сотни ног, заиграл снова баян.

— А вот эту песню... знаете? — доносился голос Президента. — «Издалека долго, течет река Волга...» Или про рынок спеть? Куплеты про рынок знаете?

Иван Сергеевич продолжал стоять, ничего не понимая, посреди дороги, мешая всем. Его толкали, сдвигая все дальше от колеи, пока, наконец, интеллигент не сообразил дернуть за рукав первого попавшегося фраера.

— Так куда мне теперь? Где получать катер? — прямо спросил он.

— Идите к машинам, — бросил на ходу служивый. — Напишите подробно все... Вон машины стоят.

Никогда еще не был Иван Сергеевич в таком высоком обществе, надо сказать, а потому стеснялся, конфузился — с кем не бывает? Дверцы черной «Волги» были открыты настежь, на сиденьях пристроились фраера — закусывали, кофеек из фляжек потягивали, вели беседу. Кофеек сильно отдавал коньяком, но это понятно — вода, грязь, холод собачий, а тут сиди, жди, пока начальство с народом общается. Ивана Сергеевича приняли, как родного, как же — герой дня. Налили в стаканчик пластмассовый ему, бутерброд дали — сиди не скучай, пиши заявление. Иван Сергеевич так и делал, скромно пристроился в сторонке, писал, кофеек попивал, прислушиваясь к интересной беседе людей сведущих, приближенных к высоким сферам.

– Вы, Иван Сергеевич, вопрос огромной важности подняли, – с уважением заметил вдруг главный фраер. – Я думаю, большой разговор будет по этой проблеме. Да...

– По машинам, – разнеслось вдруг над бездорожьем. – Всем постам... На выезд...

Иван Сергеевич заметался между машинами, путаясь под ногами, ничего не мог понять, почему такая паника, суматоха.

– Куда заявление? Кому отдать, насчет катера? Вы не могли бы... – тыкался он со своей бумажкой.

Но все напрасно. Никто его не слушал. Даже те, кто только что с ним кофе пили. Смотрели в упор, не узнавая, как на врага. «Отойдите, товарищ. Мешаете, гражданин!» – и все, только один из них наспех, машинально как-то обыскал наследника и подтолкнул в спину – иди, дескать, отсюда, пока цел.

А тем временем машины стремительно разворачивались, мигалки вспыхивали тут и там, фары мелькали, ослепляли со всех сторон, и посреди этого бедлама одиноко, как заяц на дороге, метался русский интеллигент, пока не услышал спасительный окрик:

– Ваня! Давай сюда, к нам...

Рядом с ним притормозил телевизионный рафик, открылась дверца, а там – старые друзья: Писатель, Нинка – боевая подруга и собутыльник неизменный, Журналист. Все те же лица, господа, ну, прямо как во сне, позволим себе заметить. Такие дела...

Рафик трясло, качало, словно корабль в девятибалльный шторм, поэтому Писатель, разливая водку в стаканы, демонстрировал истинно виртуозное мастерство. При том и беседа не затихала, появление интеллигента только подхлестнуло ее.

– Наивный ты, Ваня, я удивляюсь просто, – поучал Писатель, почему-то перейдя на шепот. – Ну, какой это Президент, ты сам подумай? В маске, с баяном... Три Помощника... Что одного мало, не надоед еще?

Нинка хмыкнула, оценила шутку.

– Так я же заявление им отдал! – в сердцах воскликнул русский интеллигент. – Откуда ж я знаю – настоящий, не настоящий. Мне катер нужен!

– Вот, то-то же... А как узнать? Вот в чем парадокс, – подмигнул Писатель. – Кто подойдет и скажет – снимите-ка маску, г-н Президент, позвольте лицо посмотреть? А? Я бы, например, не решился. И все так, это понятно. Поэтому невозможно проверить. Практически – невозможно. На наших глазах, – он похлопал рукой по кассетам видеокамеры, – рождается величайшая путаница. Дух подмены, как и предсказано, кстати...

– Это точно, – вмешался Журналист, – завтра, может быть, тысяча Президентов будет, а как проверить? Ларьки торгуют масками на каждом углу. Любой купить может...

– Я не могу больше, не могу, не могу! – застонал наследник, схватившись за голову, словно она раскалывалась жестокой болью. – Что вы несете? Какие маски? Что вы путаете меня... Откройте дверь! Пустите...

Иван Сергеевич рванулся к двери, пытаясь открыть ее на ходу, но ручки, понятное дело, не было, отломана была она бог весть когда, что и спасло русского интеллигента от тяжелой дорожной травмы.

Между тем компания испугалась не на шутку, так как Писатель, похоже, рассказал о припадках наследника. Его не без труда уложили на сиденье, поливая лицо минеральной водой из бутылки.

– Все хорошо, все путем, не волнуйся, Ваня, – приговаривал он. – Это болезнь, припадок у тебя, а мы корвалолчик дефицитный нальем, корвалолчику выпьем... Ну-ка...

Иван Сергеевич глотнул корвалол и правда поприших, перестал биться, только скулил, надрывая сердце жалостливой Нинке.

– Дети же гибнут, куда мне идти? Что делать? Я, может, не прав, не знаю, как надо... Ну, пусть скажут! Что писать, куда?

– Сделаем! – решительно заявил Писатель. – Надо бить в набат! Понимаешь? В набат! Общественность! Чтоб вся страна узнала! – И тут же крикнул шоферу: – В Дом писателей, вези Михалыч! Гони, родимый! На сход всероссийский! Там сейчас все собрались, – возбуждаясь от собственного прозрения, зашептал он, склоняясь над наследником. – На всю Россию набат! На весь мир!

Какой русский не любит быстрой езды? Любил ее и Михалыч, а потому рванул по шоссе так, что птицы с окрестных полей, поднявшись в испуге в воздух, долго не опускались на землю. От удивления, надо думать.

Кто не знает этот фасад на одной из московских улиц, эти врата российской словесности, пропускающие в святая святых отнюдь не каждого встречного-поперечного, кому на ум пришло бумагу марать. Отнюдь! А токмо достойных, с печатью, надо думать, бесценного дара на челе и на вкладыше твердокартонной книжечки. Членский билет называется. Вот последнего-то и не было у наследника Толстого и Достоевского, потому он засуетился, заволновался у монументального входа.

– Ты со мной, не волнуйся, – успокоил Писатель, проталкивая друга вперед.

А надо сказать, что попасть в заветные двери было не просто – толпился народ у входа, в дверях было битком, короче, почему-то затор образовался. Но наш Писатель растолкал лихо страждущих, и вся компания оказалась в большом вестибюле, среди толкучки, неразберихи и двух больших очередей, ведущих в разные стороны, к загородкам – своего рода, контрольно-пропускным пунктам. Одна очередь явно шла быстрее, и Иван Сергеевич по простосердечию своему пристроился туда, вслед за Нинкой. Однако напрасно.

– Это для женщин, ты что, Ваня, – хмыкнул Писатель и увел друга в соседнюю очередь, где и вправду стояли одни мужчины.

Что к чему Иван Сергеевич не сразу понял, оно и понятно: полутьма вокруг, как в церкви, свечи горят в глубине, лампадки мерцают под иконами, музыка хоровая доносится откуда-то. Душа, так сказать, воспаряет, очи горе поднимаются невольно. Что русский интеллигент и сделал, воздел очи, размышляя о вечном, а надо было наоборот, оказывается. Поэтому тем разительнее для него был грубый окрик служивого на контрольно-пропускной загородке:

– Ну, чего стоишь? Штаны снимай!

– Это со мной, – пытался защитить друга Писатель. – Необрезанный он, нормальный...

– Мы вас знаем, не спорю... – вежливо соглашался охранник, – а он пусть предъявит. И к наследнику: – Предъявите, гражданин!

Иван Сергеевич продолжал стоять, задерживая очередь и удивленно озираясь. Только тут он заметил, что стоящие за ним граждане уже приготовились предъявлять – сняли штаны, достали предмет осмотра и держат его в руке, для простоты контрольного изучения. Дубликатом бесценного груза, так сказать.

А тем временем у загородки назревал скандал. Мужики рослые, в национальных рубахах, с повязками распорядителей, окружили загородку, предчувствуя заварушку.

– Что, поймали? Обрезанный пришел? – выкрикивали тут и там.

– Да он русский, клянусь вам, – пытался сдержать страсти Писатель.

– А пусть предъявит! Чего он боится? А ну-ка, покажь...

Иван Сергеевич и сам не заметил, как штаны, не без помощи доброхотов, слетели с него, и взыскательным взорам предстало... Что – трудно сказать. С того места, где находился автор, не видно было, одна только суeta да склоненные головы экспертов. Чего-то они там копались, светили фонариком, потому как темно было изрядно, наконец, подняли головы, зашумели, а самый рослый из них громко воскликнул, бия себя в грудь:

– Не пропушу! Хоть режьте, сограждане, не пушу!

– Да ты что, Василий, сдурел, что ли? – взвился Писатель, проталкиваясь к бледным ягодицам интеллигента. – Что не так, покажи? Пусть люди скажут!

– Не так у него, и все! Может, и необрезанный, а не так, – настаивал рослый. – Не пушу!

Каждый лез посмотреть, дабы иметь мнение, толкались, огрызались, короче, назревала драка.

Иван Сергеевич стоял каменно, ни жив ни мертв, от ужаса ситуации закатив глаза.

– Да у него эрекция! Ничего страшного, – раздался по-комсомольски веселый, с огоньком, звонкий девичий возглас.

Нинка – умница, верный товарищ, как всегда вовремя пришла на помощь – растолкала мужиков, стала рядом с наследником и, указуя рукой куда надо, открыла людям глаза.

– А точно, робята, – расплылся нетрезво седовласый мужик в косоворотке. – Да это как же так – своего не узнали. Да это ж браток наш, рязанский. Да ему бы счас в поля, да с девками, да на травы тучные, да под ромашки пахучие! Да под гармонь-трехрядку! Эх, хорошо, куражу душа просит! Орел ты наш! А ну, по стопарику, айда...

Седовласый, похоже, сильно был навеселе и потому, мешая наследнику застегивать брючину, полез целоваться. Короче, в суматохе, в толчее, а прошел Иван Сергеевич проклятую загородку и двинулся вместе с толпой в темноту коридора, под свечи мерцающие.

Поначалу показалось Ивану Сергеевичу, что попал он за кулисы какого-то театра, скорей всего оперного. В темноте помещения, да при свечах – трудно было уловить смысл событий, но кое-что угадывалось, узнавалось, по аналогии, надо думать. Прежде всего – митинг, действие массовое, всем хорошо знакомое. Возвышалась фигура в глубине помещения и страстно жестикулировала. Слова долетали тоже, правда, не все – шумно было, но интонация рыдающая, вернее даже, навзрыдная, слышна была хорошо, как музыка:

– Все как один... Где наши предки... Слабо, что ли, нам... Лягем костями... Заедино!

– Все как один! Заедино! – выкрикивали в толпе.

Однако к чему призывал оратор – неясно было. К чему-то эсхатологическому, решил Иван Сергеевич, в духе времени, так сказать.

Тут же по углам, не обращая внимания на митинг, группы бородатых молодых людей разучивали хоровое пение. А ко всему прочему среди толпы мелькали ряженые: кто в форме царской армии начала века, а кто и в гусарской, времен войны 1812 года, но чаще всего попадались кольчуги, шлемы деревянные и щиты картонные. Поэтому и решил наследник – опера. «Жизнь за царя», наверно, или на худой конец что-то из Хренникова, на стихи Исаковского. Но тут размышления Ивана Сергеевича прервались.

– Вот он! Насчет детей который, я говорил вам, – представил наследника Писатель распорядителю вечера, большому грузному человеку, одетому весьма починовничьи, ничего особенного – ни тебе кольчуги, ни шлема.

– Друг ситный, – застонал вдруг тенором распорядитель, – да у меня сто сорок человек уже записалось. Куда я его вставлю?

– Он должен выступить! – не отступал Писатель, перейдя почему-то на рыдающие интонации. – Пусть скажет, как детки гибнут! Это ж до чего дошли, детей Молоху скармливаем? Так?

– Тридцатьм, вот, записываю, – пугливо согласился распорядитель. – Как вас?

– Мазарин Иван Сергеевич, – ответил за наследника Писатель, тут же сменив тон.

...А возле трибуны толкучка, все лезут выступать: и те, кто записался, как Иван Сергеевич, и те, кто вообще не записывался, лезут нахрапом, силой берут,

без очереди, ну, понятное дело, свалка идет, кому и морду разбили, так уже тому и выступать не хочется, тем более, опять же телевизионщики снимают выступающих, а кому охота с разбитой рожой по телевизору щеголять; однако Иван Сергеевич к микрофону прорвался, схватился руками за железную стойку – не оттащишь – и возопил к соотечественникам, срывая голос: дети гибнут! спасите, помогите! катер нужен, лодки, что-нибудь, возьмемся всем миром, братья, детей спасем; и еще что-то важное хотел, видно, сказать Иван Сергеевич, но время его вышло, по тридцать секунд велено было разговаривать, а он и так на все сорок наговорил, и силком его от микрофона, волоком да вниз – по ступенькам, а там уже другой наверху, кричит, горло рвет, за ним следующий готовится, а русский интеллигент сидит внизу, у трибуны и плачет горько, слезы размазывает по грязным щекам, так что ж теперь, кричит, кто катер даст; куда мне идти, спрашивает, хватает за полы, стоящих вокруг людей, а те не слушают, не замечают, мало ли кто там внизу на полу сидит, может, юродивый какой, а одна старушка так прямо и сказала Ивану Сергеевичу: на, говорит, несчастный, копеечку, не плачь; только хотел ей наследник ответить, объяснить, как с трибуны прямо в народ свалился мужик какой-то, спихнули, значит, а на его месте, у микрофона другой, с бородкой, и вроде лицо знакомое, как показалось наследнику, вроде из первой сцены мужик, что возле забора кино снимал, а тут телевизионщики загалдели, отойди, дескать, сука, от микрофона, не будем тебя снимать, мы тебя, падлу, знаем, скандалы твои насмотрелись, не хочет зритель про это смотреть, он, зритель, другое смотреть желает, и чтоб красиво все было, с пением, но только, понятное дело, в рамках хорошего вкуса, без порнографии, чтоб детки у телевизора тоже смотреть могли, уроки дела, и вообще, кричат телевизионщики мужику этому: он, зритель, имеет право на зрелище, потому как с хлебом не очень... а мужик этот как услышал про «зрителя», так словно вожжа ему под хвост, как обезумел, глаза налились кровью, пена пошла ртом, видно, и вправду «пунктик» у него на этом зрителе образовался, короче, как заорет мужик: а, зритель? пришел, значит, развлекаться хочет, ублюдок, ну, я тебя, кричит, сейчас развлеку, со смеху помрешь, как собака; ты лыбишься, зрителек лупаный, думаешь, все это, что вокруг, тебя не касается, кино, дескать, выдумка, актеры разыгрывают, так? а вот хрен тебе! казнь идет, слышишь, суд страшный, огонь пожирающий! встать в зале! я вам говорю, зрители пеханые, встать! ценители из-куз-ства, сраные, всем встать, и ты, говно с бородкой, не хрен смеяться, не смешно, боль человечья из каждой щели сочтется и вопиет к Богу, доколе, доколе... Но тут, видно, выключился микрофон, а может, кто шнур выдернул, но только пропал звук, как не было, напрасно мужик рвал рубаху, цепляясь за микрофон, чтоб не столкнули, не слышно было, а снизу ему из толпы так и кричали: не слыш-но, не слыш-но, пошел на хрен, другого давай оратора, поинтереснее, выразительнее, мы сильно любим, кричали внизу, чтоб выразительно было и со слезой, но тут вообще не до оратора стало, потому как началась свалка...

Надо сказать, русского интеллигента постоянно коробила эта странная манера общения окружающих – менять тон, интонацию – то рыдающе, то задушевно, и все фальшиво весьма, как в плохом театре. Вроде как все играют, пьеса какая-то, а он все не может понять хитросплетение сюжета и, главное, чем кончится. И как-то все происходит одновременно, как срепетированное, как будто подстроено все кем-то. Кем? Вот тут вопрос. Страшные мысли приходили ему в голову еще с той первой минуты, как сел он, сердечный, в зеркальный шкаф и, поигрывая веслом, отправился по бурным волнам скитаний. Уже была заданность во всем этом, преувеличенность, как бы кто-то подсказывал глумливо: вот, дескать, какая картинка абсурдная, шкаф плывет, а в ём русский интеллигент, наследник... Смешно-с... Да-с... Вроде и голос ехидствующий ему даже чудился. Нашептывал, как суфлер. Сюжет выстраивал. Так подстроил все в парикмахерской, например, что не понять, что к чему, а между тем и бородака явилась на свет не случайно, а со значением, намеком, и разговор похабный, как оказалось, имел продолжение, весьма неожиданное, у Зины...

Короче, ощутил Иван Сергеевич себя персонажем неким, так сказать, действующим лицом по чьей-то неведомой воле, ехидной и весьма саркастической. А главное – понял он это лишь в ту минуту, когда заметил, что и все другие ничем не лучше его, разве что играют похуже, да и роли у них эпизодические, не главные... А у кого главная? Вот снова вопрос, вопросы... Ведь ежели кому в государстве российском дозволено такую общенародную пьесу из граждан выстраивать, то кто же это должен быть? Ох, вопросы, вопросы... Неужто опять враг человеческий, отец лжи затеял игру коварную, дух подмены пустил, дабы заморочить, ослепить в который раз, не дать подняться из грязи вековечного обмана любезному отечеству? Неужто опять бесы воют, с дороги сбивают, а ведь так близко казалась она, дорога-то эта, простая и ясная. Господи, помоги нам, грешным, избежать духа антихристового, духа подмены и его слуг мерзейших, а особенно пошлости, этой ржавчины, пред которой, увы, ничто до сего времени не могло устоять, даже святые истины. Избави нас от пошлости, Господи. Избави нас. А остальное приложится. Ей-богу...

Примерно так говорил русский интеллигент, сидя за ресторанным столиком писательского дома в окружении неизменной компании. Примерно – по мыслям, а по форме, конечно, иначе, как обычно и говорят в ресторанном бедламе да в сильном подпитии, когда мысли и вилки путаются, а слова и закуска никак не находятся, когда чувства переполняют до крайности, а слезы и минералка текут прямо на белую скатерть и невозможно остановить...

Народу в ресторане было битком. Все время к столику подходил кто-нибудь и, толкнув посуду, задавал ничего не значащий вопрос. Отвечала Нинка – подруга, Писателю разговоры уже были в тягость – сильно принял на грудь, от души. Однако взор его прояснялся периодически при виде важных знакомых. Вот и сейчас, неожиданно посветлев взором, он наклонился к наследнику и предложил:

– Пойдем отольем, а то когда придется еще...

Сказано – сделано. Встали. Пошли, застревая по пути в бесконечных рукопожатиях у переполненных столиков. Иван Сергеевич, надо заметить, существовал уже весьма манекенно, при Писателе, держался прямо и ровно, но слова доходили с трудом. Так, гул какой-то. И вдруг среди этого гула он услышал совершенно отчетливо, как ножом по стеклу:

– Хорошее дело. Русское... Предки наши с вами всегда баловались этим...

– У-у, сука в ботах, – прорычал наследник, озираясь.

И точно. За соседним столом в окружении иностранных гостей восседала Маздухина, в одноименной маске, банкетировала. В одноименной, потому как невозможно назвать иначе картонный оттиск с прорезью для глаз, воссоздающий до мельчайших подробностей ненавистные наследнику черты.

– Мода у них теперь такая, что ли, в масках ходить, – заметил непроизвольно Иван Сергеевич, приближаясь к столу. Но его опередил какой-то тип с красной лысиной.

– Алевтина Ивановна, с нами, значит... Выходит, вместе? – задыхался он от радости встречи.

– Заедино! А как же, – улыбалась Маздухина. – Вот, позвольте представить вам.

Она указала широко на сидящих за столом:

– Наши компаньоны. Совместное предприятие. Спермуэлдкорпорэйшен... Донорство спермы. Щас это очень модно у них...

Загалдели, закивали иностранные гости, начались рукопожатия, опять же толчея. Иван Сергеевич никак не мог пробиться к Маздухиной, мешали.

– Ваня, ну, чего стал, идем же, – потянул за руку друга Писатель.

– Ты знаешь, кто о...нна? – прохрипел наследник, но язык не слушался его, а потому Писатель не придавал значения пьяным фантазиям наследника и потащил его силой, добра желая.

Но, видно, не судьба была облегчиться героям нашим. Влетел как ошпаренный в ресторанный зал распорядитель вечера и завопил не своим голосом:

– Объявили! По телевизору! Сейчас снова будет... Экстренный выпуск!

Все вскочили со своих мест, толкаясь и переругиваясь, бросились в ресторанный предбанник, к телевизору.

На телеэкране возникла заставка-надпись: «События на Куликово. Экстренный выпуск».

Дальнейшие события, а точнее сказать, многотрудный путь на поле Куликово запечатлелся в сознании наследника с большими провалами и весьма калейдоскопично: ...волки выли на голодных ночных полях, и люди шли нескончаемо, наткаясь в темноте на спины впереди идущих, по вязкой проселочной дороге навстречу зареву, полыхавшему в полнеба, и кто-то читал из Бердяева, что русские всегда были склонны к апокалиптическому пониманию мира, к эсхатологическому сознанию, а кто-то другой полез драться и кричал из Гоголя: строй себе выше пирамиду, бедный человек! а потом затор на развилке возник – другая колонна шла поперек дороги, загоразивала, причем чудно так, все вроде как мертвые, неживые, в кольчугах и с саблями, а впереди дед двухметровый, с бородой, а вокруг развилки смех, свист, кричат деду: эй, ты, Сусанин, куда ведешь, на Куликово в другую сторону, а тот как не слышит, по грязи, бездорожью, поперек дороги ведет своих, ну, точно Сусанин, вон уже и лес чернеет вдаль, не больно какой дремучий, так себе, но рентген пятьдесят будет при исправном дозиметре; все это обговорила, обсмеяла развилка и вперед, вперед, не отставай, браток, уже близко, еще чуть-чуть, а потом двор деревенский заброшенный был, хибара, маленькое оконце с пыльным стеклом, а они стучат, требуют, и больше всех наш Писатель – лицо в крови, куртка порвана: налеп, кричит, хозяин, ратникам перед смертным боем, а в окошке спичка разгорается и вдруг видна рожа страшная, не человеческая, с клыками вампирскими, и сразу стекла летят вдребезги, ну, то-то же, знай наших, а ну, мужики, музыку давай, на смерть идем, бацай, веселей будет, а вот уже и поле Куликово, под огненным небом чернеющее, в лужах багровых зарево отражается, воронья видимо-невидимо, тучами вьются, свет застыт, и народ строится на одной стороне поля, все, кто приехал, под хоругвями, с пением, тьма-тьмуца – сколько собралось, не сосчитать, а с другой стороны поля вражья сила готовится, лица противогазные, не различить, как и положено нечисти, щитами прикрываются, стволы вороненные смертно блестят, затворы угрюмо клацают; а между супротивниками, на нейтральной полосе, газик милицейский разъезжает, командует, мол, не заходите на полосу, к барьеру, пока сигнал не дадут, а как будет ракета зеленая, так милости просим, сходитесь, господа, соревнуйтесь во мнениях, авось убедите друг друга, консенсус нащупаете, а между тем – за газиком другая машина грязь ковыряет, телевизионщики на ней, снимают, крутят головой во все стороны и тоже командуют, дескать, выше хоругви поднимите, а то не видно, и хор пусть выйдет вперед, поет громче; но тут взвилась над полем ракета зеленая, все вдруг побежали куда-то, и Иван Сергеевич тоже бежал в толпе, не зная куда, но краем глаза увидел: двинулись рати, загудела земля под сотнями ног, засвистели свистки милицейские, и бросился кто куда – где право, где лево – не понять, кто упал – не спасется, не упасть – главное, бежать дых в дых, спину зубами чувствуя, в ушах гул, будто кони идут, жарко пахнуло конским потом, а там гонят задние: быстрее, еще быстрее, если неможоту, дышалка слабая – прочь с дороги... но вот и лесок спасительный, туда, за деревца слабые, отдышаться; но что это? Топочет за его спиной некто, идет по его душу, оглянулся беглец и ахнул: всадник огромный, не человеческого вида, скакал на него, гнался за ним, за Иваном Сергеевичем, потому как вокруг более никого не было, и настигал, настигал, и улыбка страшная, каменная качалась на неживом лице всадника, и взмахнула рука его, острие саперное опуская, и медью пахнуло в лицо наследнику, и услышал он вопль своего горла: ужо тебе! и тогда из последних сил метнулся наследник в сторону, имя Божие призывая, и, о чудо, успел, увернулся, пахнуло в лицо, как от поезда,

ветром порывистым, но пронесло, и вроде бы можно уже передохнуть, ан, нет! «засадный полк, к бою!», звучит команда, и вправду ведь – дикая мысль, как молния, озаряет мозг наследника, русского интеллигента, – ведь был засадный полк, по истории, на Куликовом, и решил исход битвы, а стало быть... что «стало быть» не успел додумать Иван Сергеевич, ибо двинулся полк на сечу кровавую, и вместе с ним двинулся в гущу боя Иван Сергеевич, и тогда-то заметил, что полк этот странный какой-то, вроде как без оружия, в основном дамочки очкастые да молодежь, но дружно идут, цепями, рука в руку, не отдернешь, и все кричат только одно слово, и слово-то это особое, от которого слезы сами текут из глаз и сердце щемит болью невыразимой: **БРА-ТЯ!!!**

IV. Финал. Пассакалия

Желтая-желтая степь и до чего яркая – просто чудо какое-то, а небо черное, да, совсем черное. Ветерок траву золотую кольшет – тихий однообразный звук. Не так, как на Земле, там трава в степи аж гудит от жизни: и шмели, и пчелы, и стрекозы, и кузнечики, да мало ли их, гудящих, поющих в теплой траве, и потому она на Земле звучит иначе. А тут другое. И волны другие – большие, черные, медленные, а берег пустой, ничего нет. Вот только вддали, сливаясь в желтое одноцветье, высятся руины какие-то, а может, дом брошенный, нежилой, потерявший свои прежние очертания от времени, без крыши, одни стропила торчат. И только тени в оконных проемах без стекол – черные. Желтое и черное. Вот и все цвета.

Иван Сергеевич подошел к дому со стороны моря, однако не вошел внутрь, хотя чувствовал – надо войти, ждут его там, почему – не сказать, не объяснить, но ждут. Между тем вопреки чувству неясному этому он спустился к воде, к самой кромке, привлекло что-то его внимание, да так, что он даже присел на корточки, рукой начал шарить по мокрой гальке. А тут и волна подошла большая, как специально, прошлась пеной по кромке, убирая лишние камешки, и тогда стало видно... Ботиночки детские, туфли, сандалии. Все однотипное, казенное, интернатское, столько раз им виденное, ношеное-переносное.

– Не успел... Только пять минут... Оpozдал... Воротиться, – повторял бесконечно одно и то же Иван Сергеевич, словно был не в уме.

Он шел по кромке, собирая ботиночки, а тех все больше и больше, уже не удержать в руках, падают, снова приходится поднимать, и дальше, по берегу, а там другие, еще и еще, кажется, и конца им нет. Весь берег усыпан ими.

– Что же это, что?! – застонал Иван Сергеевич, закричал в пустоту моря: – За что так? Зачем? Не может так быть... Не хочу! Что же это...

Но тут кто-то тронул его за плечо. Вздрогнул Иван Сергеевич, умолк – уж очень неожиданно было прикосновение это, оглянулся.

Дети стояли за его спиной. Сомнения не было – интернатские, его дети, да разве их спутаешь. Вон и Мелкопян стоит первым, за главного, говорит что-то, но почему-то никак не понять, говорит, видно, тихо, не слышно за шумом волн.

– Не кричи, – наконец дошел до Ивана Сергеевича смысл слов, а Мелкопян, между тем, приложил палец к губам и добавил чуть слышно: – Здесь Бог... Не надо кричать... Нельзя... Он здесь...

– Где... здесь? – прошептал Иван Сергеевич смятенно.

Но Мелкопян, видно, не понял вопрос, не ответил, а показал рукой почему-то в сторону дома и сказал:

– Идем... Тебя ждут...

Дети повернулись и пошли к дому не оглядываясь, а Иван Сергеевич отчего-то сел наземь, рассыпав ботиночки, и задумался. Глаза закрыл, по груди стал водить рукой машинально, крестик искать нательный, нашел, наверно, потому как пальцы остановились, замерли. Так и сидел недвижимо. Думал... А вокруг темнело – быстро, не по-земному, пропала трава желтая, чуть светилась серым, холодным светом, затем и она растворилась, исчезла, и понял Иван Сергеевич, что он возвращается, выходит, не время ему еще. Не время...

– Не время... – произнес человек у окна.

Был он немолод, а может, постарел неожиданно, в одночасье, как бывает с пережившими горе или попавшими в аварию. А это вполне могло быть с ним – вот ведь и шрам, затянувшийся свежей розовой корочкой, неспроста на его лице, да и волосы, чуть отросшие, говорят о том, что острижен был он наголо, по-больничному месяц-другой назад. Что касается седины – трудно сказать, может, здесь, в больнице, она появилась, а может, раньше была. А за окном снежок идет, покрывает больничный двор, уголь чернеет горой возле труб кочегарки, стены облупленные, все как обычно, ничего интересного. Чего он в окно смотрит? Одному Богу известно... А между тем скрипнула дверь палаты, вошла сестра – листок какой-то в руках держит. Зашевелились люди на койках, на дверь уставились. Но сестра повертела листок в руках и объявила:

– Мазарин Иван Сергеевич, есть такой?

– Есть, – ответил человек у окна.

– На выписку.

Вот и все событие, даже обсуждать нечего, так, кое-кто глянул мельком в сторону окна да небось отвернулся тут же – эка невидаль, человека выписывают. Однако человек этот почему-то прижался лбом к стеклу, зашептал что-то, вздрагивая плечами, будто благодарил за что-то, словно, к примеру, он сидел у окна и просил о выписке, а тут ни с того ни с сего возьми и произойди. Сразу. Так, что даже не по себе стало. Впрочем, народ в палате, похоже, привык к необычному пациенту – может, у человека с нервами плохо, потому он чуть что – в слезы, бывают такие. Тем более, после травмы. Короче, никто не удивился странному поведению человека со шрамом. А он, шмыгая носом и непрерывно сморкаясь, сел на койку и стал собирать свои немногочисленные пожитки. Достал зеркальце, безопасную бритву и, окунув ее в стакан с водой, начал соскребать со своих худых, по-больничному желто-серых щек двухдневную щетину. Провел раз, другой и неожиданно, отложив бритву, погрузился в изучение своего лица. Надолго...

В полутемном подвале вода блестела на кафельном полу и запах стоял неприятный, как в отхожем месте. Иван Сергеевич получил свои вещи, разложил их на барьере-стойке, но что делать дальше – не знал, оглядывал зловонную жижу в поисках сухого места, где можно было бы одеться, но не находил такого, а посему слезы уже были готовы хлынуть из глаз и губы почему-то дрожать начали. Видно, действительно, нехорошо у него стало с нервами после травмы. А гардеробщик, сердечный человек, заметил, конечно, что пациент сильно нервный, а может, даже припадочный, и ласково так, по-отечески предложил несчастному одеться внутри гардероба, в служебном месте, в виде исключения, конечно.

Вот так они оказались рядом: гардеробщик, пожилой человек, выдавший вида, и русский интеллигент. И грех было не разговориться. Что и случилось, хоть место мало располагало к беседе.

– Вот я удивляюсь даже, какие бывают случаи, – начал гардеробщик издали, – к примеру, сестричка из вашей палаты, Александра... У нас даже женщины из столовой заметили, говорят, что это с ней, подменили будто. Может, он родственник, говорят, или по блату. Прямо чудеса какие-то, ухаживает за ним, ночей не спит, фрукты-овощи за свои деньги покупает, делает вид, что передачи ему приносят...

– Да, странно, – согласился Иван Сергеевич, – а кому это? Из нашей палаты?

– Так я ж про вас и говорю, – развеселился гардеробщик, ну, чудной пациент, точно не в себе.

– Вы уверены? – удивился Иван Сергеевич. – Конечно, Александра Николаевна очень душевная женщина, но мне казалось, она со всеми очень приветлива... То есть не выделяет никого особо...

– Как это не выделяет? – изумился гардеробщик непонятливости пациента. – Я ж говорю, все заметили. Об этом только и говорят, весь персонал говорит, а плавврач наш, когда ей заявление об уходе сегодня подписывал, так прямо и

спросил: вы хорошо все обдумали, Александра Николаевна? А она, значит, рассказывают, расплакалась и отвечает ему: так он же, то есть вы, – уточнил гардеробщик, – пропадет без меня. Я, говорит, не могу теперь его оставить. Куда он, туда и я... Такая говорит, судьба мне, наверное...

– Вы... ничего не путаете? Вы уверены? – переспросил Иван Сергеевич, мучительно вспоминая неразличимые в своем однообразии больничные дни и бессонные ночи.

– Для чего сочинять мне? Странный вы какой, – слегка обиделся гардеробщик. – Мне сочинять без надобности. Да небось сами сейчас увидите, небось ждет уже вас Александра в вестибюле. Наверняка ждет, она же знает, что выписка у вас...

Однако никто не ждал Ивана Сергеевича в больничном вестибюле, и он уже было решил, что гардеробщик слегка того, приврал малость, а может, разыгрывал, весельчак этакий. Поэтому наследник попрощался мысленно с печальными стенами, вздохнул, как и полагается в таких случаях, и взялся за ручку входной двери. Надо сказать все-таки, что была некая странность в размеренной жизни больничного вестибюля, а заключалась она в том, что весь персонал больницы столпился у высоких, давно не мытых окон, выглядывая наружу, ожидая какого-то важного события или приезда высокого гостя. Так, по крайней мере, подумал Иван Сергеевич и, как уже говорилось, вздохнув на прощанье, открыл входную дверь.

А на больничном крыльце, возле перил, занесенных снегом, стояла женщина, похоже, стояла давно, так как снег густо покрыл плечи и платок. Она чуть улыбнулась, увидев Ивана Сергеевича, и шагнула к нему, протягивая тетради какие-то.

– Тетради ваши. Забыла отдать, – улыбнулась она виновато. – Я заново переписала, а то почерк у меня... Ничего не поймете... И орфография...

– Александра... – как-то задумчиво, со значением произнес Иван Сергеевич. – Да, конечно... Значит, это вы? Как это возможно?.. Как...

– Пойдемте, что ли... А то стоять холодно, – смутившись, прервала она, словно опасаясь, что он проговорится о чем-то, о чем не следует говорить, нельзя. – Идемте же, – умоляюще повторила она и взглянула, заливаясь краской, на окна больничного вестибюля.

Иван Сергеевич тоже взглянул. А там, лицо к лицу, стоял весь персонал больницы, и никто не ждал никакого гостя, а ждали все этой встречи на больничном крыльце, и нянечки небось смахивали слезу украдкой, так как на их глазах рождалась легенда о прекрасной и удивительной любви, которая, наконец, по милости Божией, посетила и эти печальные стены и, надо думать, переживет и саму больницу, и всех служивых ее – на то она и легенда.

А между тем две фигуры удалялись от окон, сливаясь со снегом, и уносили с собой загадку их встречи, что, может, и к лучшему. Потому, что есть вещи, о которых не следует говорить. Хотя бы из суеверия. Метафизические загадки, скажем так. И если кому Бог послал неземную любовь в буквальном смысле этого слова, то умолкнем в благоговении и не будем опешлять тайну сего факта банальностью комментариев.

Что же касается дальнейших событий, то упомянуть следует, пожалуй, вокзал. Дымно было на людном перроне, гарью несло из топок вагонов, а так как воздух сырой был, промозглый, то гарь эта особенно ощутима была. Народ плевался, ругался, однако делать нечего, дышал гарью и штурмовал вагоны. Между тем совсем иначе вдыхали вокзальный дым герои наши. Иван Сергеевич погрузился необычайно, затосковал взглядом, вот, странность, сказал он, только подходишь к вокзалу, еще вагонов не видно, перрон далеко, а уже чувствуешь – дымом вагонным тянет, и такая грусть на сердце сразу, не сказать... Я знаю это чувство, ответила Александра, так было всегда на российских вокзалах, и сто лет назад, то же самое, я помню... А больше нигде, в Европе все по-другому, мой друг...

А после была дорога, вагон плацкартный, скрипучий, полупустой. Стояла банка литровая, а в ней свечной огарок, на столике у окна, потому как света в вагоне не было. И проводника не было, то ли он покончил с собой от тоски бесконечного переезда с места на место, то ли запил по-черному, беспробудно, закрывшись в купе. На остановках покидали вагон пассажиры, не различимые в темноте, молча спускались из темноты вагона в темноту ночи. И все. Канули. Не найти следов, голосов не вспомнить. Как не было. А в вагон никто не садился, поэтому к середине ночи он опустел полностью. Только двое сидят у окна, в черноту метельную всматриваются, а между ними свеча горит...

Последний раз Ивана Сергеевича видели на станции Ровное, что не доезжая Козельска. Был он один, никакой женщины, как говорят, с ним не было. Дорогу спрашивал он к Оптиной пустыни, однако дожидаться автобуса не стал и пошел пешком вдоль дороги, что удивило многих, потому как до Оптиной далеко весьма, это все знают.

Между тем странный паломник оставил дорогу вскорости и свернул к полю, уже покрытому снегом, откуда видны, надо думать, были далекие купола оптинских церквей. Там, на поле, как рассказывают, он снял шапку, перекрестился, затем стал на колени и двинулся таким образом в сторону пустыни. Говорят, автобус остановился, люди вышли – смотрели, обсуждали, однако снег густой тут же пошел, да и темнело уже, к вечеру дело было, потому фигурка его вскоре пропала за пеленой, растворилась.

Вот, пожалуй, и все, досточтимый читатель. Правда, была упомянута в тексте ко всему прочему тетрадь Ивана Сергеевича... Вернее, тетради. Что можно сказать об этом? Ну, уж это как водится, что ж это за русский интеллигент, чтоб без тетради был, без рукописи, которая не горит, без размышлений мучительных о судьбах отечества, записанных торопливо и не всегда связно, без дневников покаянных, не шадящих ни себя, ни кого другого. Нет такого интеллигента в отечестве! Потому и мы не будем грешить против истины и утверждать, что всего этого в тетрадях Ивана Сергеевича не было. Было! Но было еще и другое, что, не скрою, привлекло наше внимание более всего. Это запись беседы с человеком, с которым герой наш никак не мог быть знаком, а тем более разговаривать, так как родился гораздо позже, чем его собеседник, покинул сей мир. Однако верьте, не верьте, а в тетради такая запись имеется, и портрет собеседника, надо сказать, весьма точен: и пальцы длинные, аристократические, и лицо худощавое, и неизменная шапочка на голове. И все это на отдельном листе, чтоб выделить, надо думать, записано аккуратным почерком Александры, число стоит и время беседы указано – «третий час от полуночи». Понимая сенсационность такого признания, позволим себе процитировать эту запись без сокращений, как она есть:

«...– Вот вы говорите – прощение есть и прощения нет. Как понимать это? – спросил я тогда.

– Вот и снег идет... также... – отвечал он уклончиво, улыбнувшись, – опускается медленно... на правых и неправых, на виновных и оправданных, на согрешивших и раскаявшихся... И радуется сердце человеческое... Радость-то какая! Господи! Снег идет!..»

17.12.1990 г. – 17.12.1993 г.
Санкт-Петербург